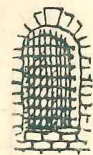


7 $\frac{35}{2}$



2

ФЕДОР ЮРКОВСКИЙ
БУЛГАКОВ



7 $\frac{35}{2}$
ФЕДОР ЮРКОВСКИЙ
Булгаков

РОМАН
НАПИСАННЫЙ
В
ШЛИССЕЛЬБУРГЕ

16 $\frac{160}{-}$

АКАДЕМІА

216
1932

Юрковский — один из крупных революционеров 70-х гг. По делу об экспроприации в Херсонском казначействе в 1879 г. был приговорен к 20 годам каторги. Был на Каре, впоследствии в Шлиссельбурге, где и написал роман «Булгаков». Уже умирающий, пробыв в тюрьме 15 лет в самых тяжелых условиях, страдая неизлечимой болезнью, Юрковский рукой настоящего мастера набросал ряд картин из времен своей юности, полных жизни и бодрости, в которых он как бы посылает горячий привет идущему на смену новому революционному поколению.

В книге, помимо самого романа, помещены воспоминания и письма Юрковского.

Цена 3 р. 75 к.

Переплет 1 р. 75 к.





ФЕДОР НИКОЛАЕВИЧ ЮРКОВСКИЙ
1880 г.

РУССКИЕ МЕМОАРЫ
ПИСЬМА и МАТЕРИАЛЫ

под общей редакцией
В. И. НЕВСКОГО

Ф. Н. ЮРКОВСКИЙ

МОСКВА

АКАДЕМИА
ЛЕНИНГРАД

1933

ФЕДОР ЮРКОВСКИЙ

(Заключенный № 10)

БУЛГАКОВ

Роман

написанный в Шлиссельбурге

ВОСПОМИНАНИЯ

и

ПИСЬМА

предисловие
В. И. Невского
редакция
вступительная
статья
и
комментарии
Е. Е. Колосова



АКАДЕМИА

1933

Переплет суперобложка и титула
по рисункам Д. И. Митрохина



ПРЕДИСЛОВИЕ

Знакомство с нашим прошлым есть обязанность каждого гражданина свободной страны, строящей социализм, если он хочет сознательно принимать участие в этом великом перевороте человеческой истории.

В. И. Ленин, говоря о создании новой культуры пролетариатом, высказал мысль, которую должен знать и помнить каждый гражданин, претендующий на имя человека нашего нового, социалистического общества: «Без ясного понимания того, что только точным знанием культуры, созданной всем развитием человечества, только переработкой ее можно строить пролетарскую культуру — без такого понимания нам этой задачи не разрешить».

Точное же знание культуры, созданной всем развитием человечества, невозможно без знакомства с нашим прошлым, а для знакомства с этим последним необходимо обращение к той науке, которая носит название истории.

Изучая культуру, созданную всем развитием человечества, обращаясь к этому прошлому истории человечества, мы видим, что пестрый хаос событий, бесконечное нагромождение фактов и явлений прошлого было бы невозможно постичь и осмыслить, если бы у нас не было той путеводной нити, какая дана нам великим учением Маркса, Энгельса и Ленина. История общества как история борьбы классов — это путеводная нить, и только с этой точки зрения мы можем получить то «точное знание», о каком говорит Ленин.

Сама культура, созданная всем развитием человечества, становится тогда на свое место и не все в ней представляется нам одинаково ценным и важным. Точное знание в ленинском смысле показывает нам, что классы и их партии в своей великой борьбе, поднимая

человечество на высшую ступень, умели, коль скоро они были двигателями истории, воспринимать из старой культуры, из сокровищницы прошлого именно то, что хранило в себе зародыши и ростки нового и более совершенного строя, что могло способствовать борьбе за этот строй.

Наше революционное прошлое самыми тесными узами связано именно с такими зародышами и ростками, которые получили свое начало еще в ту эпоху нашей революционной истории, когда пролетариат только начинал свою сознательную жизнь лишь в лице своих передовых представителей.

Тогда прогрессивной революционной силой была революционная народническая интеллигенция.

Зараженная предрассудками утопического социализма, она, однако, в лучшей своей части была беззаветно предана интересам народа и в борьбе не на словах, а на деле за эти интересы умирала на каторге, в тюрьме и на эшафоте.

Борясь во имя интересов народа, борясь за такой строй, осуществление которого происходит на наших глазах, эта революционная интеллигенция принимала из старой культуры то, что, по ее мнению, могло содействовать этому высшему строю, и стремилась уничтожить все то, что препятствовало водворению этого строя, и прежде всего — самодержавие.

И в этой беспощадной борьбе истинные революционеры-народники не останавливались перед самыми крайними средствами, даже если эти средства порой казались остальным неприемлемыми.

К числу таких революционеров-народников принадлежал и Федор Николаевич Юрковский, организатор первой экспроприации, этого одного из самых крайних и решительных средств борьбы.

Иначе, как экспроприацией, и нельзя назвать подкоп под Херсонское казначейство, организованный Юрковским.

Весь ход дела и его провал подробно описаны самим организатором, и нам нечего останавливаться на нем.

Важно подчеркнуть, что далеко не все народники одобрительно смотрели на это дело и что после попытки Юрковского таких приемов борьбы история на-

шего революционного движения не знала вплоть до революции 1905 г.

Почему же это? Не потому ли, что этот прием борьбы был «не чист», что многие революционеры-народники осуждали его? Но ведь даже социалисты-революционеры, претендовавшие на имя единственных хранителей революционного народнического наследства, очень часто пускали в ход этот прием борьбы в 1905 г. Дело здесь в том, что экспроприация средств противника получает свой смысл и оправдание, когда движение носит массовый характер, когда на арену истории выходит целый класс, революционный пролетариат, когда этот прием борьбы происходит в обстановке невиданной революционной классовой борьбы, под контролем этих масс и их классовой партии.

Действительно, мы видим, как в революцию 1905 г. захват революционерами неприяТЕЛЬСКИХ материальных средств и баз становится таким же законным и естественным явлением, как в любой войне.

Эта классовая борьба, это движение масс, этот контроль партии в 1905 г. и был той гарантией, которая обеспечивала в общем и целом применение и такого средства, какое пустил в ход Юрковский.

И уже один тот факт, что Юрковский еще в 70-е гг. не остановился перед применением такого средства борьбы, обязывает нас со всем вниманием отнестись к организатору первой революционной экспроприации и к ее истории.

Ближайшее знакомство с этой историей показывает нам, что Юрковский вообще был незаурядной личностью среди семидесятников. Физически сильный, мужественный, решительный, находчивый, превыше всего ставивший интересы народа и революции, он вместе с тем был крупным художником в области слова.

Судя по тому отрывку романа «Булгаков», который печатается нами, революционная литература потеряла в лице Юрковского, быть может, такого же яркого художника, как Кропоткин.

Стало быть, в этом отрывке мы имеем, во-первых, исторический документ, автором которого был один из участников описываемого события, и, во-вторых, документ, излагающий ход событий в художественной форме.

Такие документы — сравнительно редкие явления в историческом наследии, и понятно, какое большое значение они имеют при изучении истории революционного движения, потому что в тысячу раз лучше, чем сухие документы, знакомят нас с классовой психологией, настроениями и стремлениями борющихся.

Роман «Булгаков» вместе с воспоминаниями об «упразднении Херсонского казначейства» и представляет такого рода документы.

Эти документы знакомят нас с одним из моментов того развития человечества, в результате которого в прошлой культуре было создано то ценное и нетленное, знакомство с чем обязательно для каждого из нас, без чего вся прошлая культура была бы только сплошным голым насилием, не имеющим никакого значения.

Страничку из истории борьбы за высшую культуру человечества, которую создаем теперь мы, и представляют воспоминания Юрковского, почему мы и рекомендуем читателю эти воспоминания.

В. Невский

РОМАН Ф. Н. ЮРКОВСКОГО В ЖИЗНИ И ЛИТЕРАТУРЕ

Автором романа «Булгаков» и воспоминаний о подполье под Херсонское казначейство, ниже напечатанных, является очень известный в свое время революционер, носивший кличку «Сашка-Инженер», Федор Николаевич Юрковский, каторжанин-кариец, умерший в августе 1896 г. в Шлиссельбурге, куда он был переведен за побег с Каты в мае 1882 г.¹

Свой роман Ф. Н. Юрковский написал дважды, сначала на Каре, в 1881—1882 гг., а затем, спустя десять лет, в начале 90-х гг., заново в Шлиссельбурге.

Как на Каре, так и в Шлиссельбурге в эти годы между заключенными шла усиленная литературная работа: издавались журналы и сатирические листки, писались романы, стихи, воспоминания, теоретические исследования. О шлиссельбургских журналах говорят все мемуаристы этой крепости (Фигнер, Панкратов, Новорусский, Ашенбреннер, Волкенштейн и др.). Многие из них упоминают в частности и о романе Юрковского.

«В неоконченном романе Юрковского, — пишет, например, о «Булгакове» М. Ю. Ашенбреннер, — изображены картинно и увлекательно сцены из жизни революционеров».²

По словам М.-Ф. Фроленко, роман «Булгаков» пользовался в Шлиссельбурге большим успехом и с увлечением читался заключенными. Хорошо помнит о «Булгакове» Мих. Петр. Шебадин, упоминает о нем в «Запечатленном труде» В. Н. Фигнер, как то мы увидим

¹ См. био-библиографическую справку о нем ниже, в приложениях.

² См. его воспоминания, изд. 1924 г., стр. 131.

еще ниже, с большим вниманием к нему относился Н. А. Морозов, которому мы и обязаны первой публикацией романа Юрковского в сборнике «Под сводами» (изд. «Звено», М., 1909) и т. д. Словом, шлссельбургцам запало глубоко в память это произведение «Сашки-Инженера», за которым никто и не подозревал до тех пор литературного таланта.

Но литературная деятельность Юрковского началась все-таки не в Шлссельбурге, а на Каре, в тогдашних карийских журналах. Вот какие интересные сведения об этом сообщает Я. А. Зильберштейн в «Кандальном звоне».

«Дольше всех, — говорит он, — продолжался журнал, издававшийся карийцами в 1881—1882 гг. Назывался он «Кара» и выпускался объемистыми тетрадками, которые появлялись каждые три-четыре месяца. Всего таких тетрадок появилось пять; они аккуратно переплетались и посылались на прочтение в женскую тюрьму. По типу своему «Кара» напоминала толстые столичные журналы. Редакторами «Кары» были Н. В. Яцевич, Игнат Иванов и Николай Позен. Кроме редакционной работы, они снабжали журнал также и своими произведениями. Так, Н. Позен написал длинейший фантастический роман, растянувшийся на несколько номеров. Этот роман, озаглавленный «Наследство нигилиста», изобилует невероятнейшими приключениями. Герой романа — нигилист — прилетает на воздушном корабле и освобождает всех карийцев; выйдя на волю, карийцы рассеиваются по всей Европе и там посвящают себя революционной работе».

В журнале был помещен также большой роман В. С. Костюрина «Гнездо террористов», тема которого относилась к эпохе революционного движения в 70-х гг.; здесь в беллетристической форме изображалась деятельность наиболее видных «бунтарей».

В беллетристическом отделе журнала подвизались, по словам того же автора, и другие из карийцев. Таковы: Г. Осмоловский, написавший несколько бытовых очерков, Е. И. Минаков (впоследствии расстрелянный в Шлссельбурге) и Ф. Н. Юрковский, автор рассказа, в котором рисуются различные моменты революционной борьбы и среди них преследование и убийство шпиона («Три момента»).

Но еще больше места, чем беллетристике, в журнале уделялось вопросам теории и практики революционного движения. Тот же Юрковский поместил в «Каре» статью под заглавием: «Как я упразднил Херсонское казначейство», в которой он защищает казенные экспроприации как один из методов борьбы с правительством.¹

«Конечно, — говорит Зильберштейн, — появление такого журнала было большим событием в жизни тюрьмы. Каждый номер журнала ожидался с большим нетерпением; о содержании тех или иных статей и очерков долго толковали и спорили. К сожалению, из всего этого ценного материала ничего не сохранилось».

«Когда тюремный режим на Каре ухудшился и администрация начала отбирать книги, тетради и бумагу, карийцы решили припрятать экземпляры журнала; для этого они вынули несколько кирпичей из кухонной печки и таким образом замуровали журнал. Через некоторое время журнал был переслан в вольную команду жене политического, В. П. Рогачевой, для отправки на волю. Она долго хранила у себя эти истрепавшиеся тетрадки, но однажды во время обыска сожгла их».²

Несколько другую версию, в частности о романе «Гнездо террористов», сообщала недавно в журнале «Каторга и ссылка» жена В. С. Костюрина, автора романа, М. Н. Емельянова-Костюрина.

«Костюрин еще на Каре написал роман из жизни сыльных, — говорит она, — но его зарыли в землю, спасая от обыска, и не нашли больше».³

Упоминая о ряде литературных произведений за карийский период, Зильберштейн, однако, ничего не говорит, как мы видим, о самом «Булгакове», так что может явиться вопрос: точно ли этот роман был начат еще на Каре?

Каков был первоначальный, карийский текст «Булгакова», мы действительно не знаем, но что «Булгаков»

¹ См. в приложениях: «Журнал «Кара» и его сотрудники».

² Все эти цитаты см. в указанной статье Зильберштейна в № 2 «Кандального звона».

³ См. «Каторга и ссылка», кн. 24, стр. 192.

уже тогда, в 1881—1882 гг., на Каре ходил по рукам между карийцами и читался ими, на это мы имеем вполне точные свидетельские показания. Из карийских читателей «Булгакова» некоторые здравствуют и поныне, например, М. М. Чернавский. Правда, опять-таки, каково было содержание «Булгакова» в целом и даже так ли он тогда назывался или как-нибудь иначе, этого не сохранилось в памяти М. М. Чернавского, но отдельные сцены, как части общего целого, он и теперь прекрасно помнит. Такова хотя бы сцена в 1-й главе, соответствующая стр. 53—54 нашего текста, в которой герой романа впервые является перед читателем. Как в прежнем, карийском тексте, так и в нынешнем, написанном уже в Шлиссельбурге, оба эти места, по словам М. М. Чернавского, воспроизведены совершенно одинаково, во всех характерных деталях. Нечего, конечно, и думать о том, чтобы Юрковский мог привезти с собой, как-нибудь ее законспирировав, рукопись «Булгакова» в Шлиссельбург. Больше того: в первые годы шлиссельбургской жизни у него не могло быть и мысли о романе, — даже мечту такую он не мог бы принести туда с собой. Режим Шлиссельбурга в то время был настолько суров, что хоронил и не такие помыслы! Но впоследствии, когда в Шлиссельбурге жить стало легче (с начала 90-х гг.), когда «появились чернила и бумага без нумерованных страниц», по выражению Н. А. Морозова,¹ и родилась возможность осмысленной работы, в том числе и литературной, хотя бы только для самих себя, у Юрковского, как и у других, ожили творческие потребности, которые он в себе чувствовал, но вполне, повидимому, все-таки не осознавал, и он снова вернулся к «Булгакову». «Булгаков» принадлежит, следовательно, к такого рода произведениям, которые были дважды написаны их авторами.

Несколько иной была судьба другого из произведений Юрковского — воспоминаний, ниже напечатанных, о подкопе под Херсонское казначейство, очень красочно им самим озаглавленных словами: «Как я упразднил Херсонское казначейство». О своем упразднении Хер-

¹ Стр. 7 предисловия к сборнику «Под сводами», изд. «Звено», М., 1909.

сонского казначейства Юрковский говорил еще на суде перед своими судьями,¹ и затем эти же самые выражения повторил в заглавии к своим воспоминаниям.

Наши сведения об этой рукописи не велики.

Что «Булгаков» был написан в Шлиссельбурге, это мы точно знаем. Во всяком случае рукопись, по которой он воспроизводится теперь нами, шлиссельбургского происхождения. Напротив, воспоминания о подкопе исключительно карийского происхождения. Правда, в русской литературе появлялись предположения, что и это произведение Юрковского, так же как и «Булгаков», известно нам по шлиссельбургскому, а не карийскому тексту, но это едва ли так.² Шлиссельбургские мемуаристы о воспоминаниях Юрковского о подкопе в Херсоне ничего не говорят, — едва ли это умолчание могло иметь место, если бы такая рукопись среди них циркулировала. По содержанию же текст этих воспоминаний Юрковского носит на себе следы явно карийского, а не шлиссельбургского происхождения.

На Каре в те годы шли разные споры о русском революционном движении, о его судьбах (там были представители разных напластований в движении 70-х гг.), о его особенностях, о программах, о личном составе. Дебатировался между прочим также вопрос о роли женщин в русском революционном движении, причем находились люди, скептически относившиеся к «революционным заслугам», как говорят теперь, русских женщин. Такие парадоксы находились, например, в статье «Мысли революционера», упоминаемой в воспоминаниях Юрковского. Кто был автор этой статьи и в чем состояли его мысли о революции, судить теперь трудно, так как рукопись эта до нас не дошла и мы о ней ничего не знаем, кроме того, что среди ее мыслей были и задевавшие роль женщин в нашей революции. В ответ на эти парадоксы автора (или «в пику» ему, как выражается сам Юрковский) и написаны его воспоми-

¹ См. в приложениях «Отрывок из судебной речи Юрковского».

² См. ниже, предисловие редакции «Былого» (заграничного) к воспоминаниям Юрковского о подкопе, стр. 168.

нения о Херсонском казначействе. Аргументы для такой своеобразной полемики у Юрковского имелись прямо под руками, так как в деле Херсонского казначейства, как это видно из наших комментариев к тексту Юрковского, да и из самого этого текста, женщины сыграли как раз решающее значение. Это, таким образом, одна из самых первых статей в русской революции, в защиту роли женщин в русской революции, написанная, кстати сказать, еще до ареста В. Н. Фигнер, так как после ареста В. Н. Фигнер на эту тему споров у нас уже не возникало.

Все эти обстоятельства и создают для воспоминаний Юрковского о Херсонском казначействе иное положение, чем для «Булгакова». Родились они несомненно в совершенно определенной обстановке карийских споров и носят на себе отпечаток настроений, типичных для той минуты. Если бы Юрковский стал воспроизводить эти же воспоминания в Шлиссельбурге, через двенадцать лет после Кары, то писать их снова в разрезе карийских споров он едва ли бы смог, так как в Шлиссельбурге споры о роли женщин в русской революции психологически не способны были бы даже возникнуть. Здесь они были уже решены самым фактом пребывания двух женщин в среде самих шлиссельбуржцев, притом таких, как В. Н. Фигнер и Л. А. Волкенштейн.

Вот почему мы думаем, что если роман «Булгаков» действительно писался дважды, — а это подтверждается не только свидетельством М. М. Чернавского, — то воспоминания о подкове не воспроизводились Юрковским в Шлиссельбурге и что тот текст, который напечатан ниже, исключительно карийского происхождения, вопреки тем мнениям, которые в этом случае высказывались у нас раньше даже крупными специалистами.

В этом сопоставлении романа «Булгаков» с воспоминаниями о Херсонском казначействе есть, однако, еще одна черта, которую мы не можем не отметить, настолько она характерна и значительна, особенно для тюремной литературы. Писать одно и то же произведение два раза, снова повторяя то, что раз пережито и на чем потребность творчества уже удовлетворена, всегда трудно. Очень часто это даже психологически невозможно. Естественны и вполне понятны поэтому со-

мнения, а они иногда высказывались, точно ли «Булгаков» принадлежит к числу произведений, которые дважды появлялись из-под пера их авторов?

Проще всего ответить на это фактами.

И кроме «Булгакова» мы знаем, притом чрезвычайно крупные, произведения, создававшиеся в тюрьмах, которые бывали повторно написаны их авторами. Так произошло, например, с книгой Мельшина-Якубовича «В мире отверженных», только что снова появившейся на нашем книжном рынке, на этот раз пятым и шестым изданиями.¹ То же самое можно сказать и о классическом описании «Алексеевского равелина» П. С. Поливанова. Оба эти произведения — сверстники шлиссельбургского «Булгакова»; как и «Булгаков», они написаны в начале 90-х гг. прошлого века. И оба же, как только были закончены, едва не погибли и для своих авторов и для будущих возможных читателей.

Книга Мельшина (том I, «В мире отверженных») писалась первоначально в Акатуе, на самой каторге, но этот ее текст был затерян при пересылке с каторги на волю, и автору пришлось заново восстанавливать его, что потребовало с его стороны огромного напряжения.²

То же самое пережил и Поливанов со своим «Алексеевским равелином», хотя рукописи его никогда не терялись.

Но как Мельшин, так и Поливанов восстанавливали свои произведения сравнительно по свежей памяти, чем их положение резко отличалось от положения Юрковского. Поливанов перед выходом из Шлиссельбурга старался даже почти что заучить свой текст, хотя в нем было свыше десяти печатных листов, — черта тоже чисто тюремная. Только в тюрьме можно брать на себя такие подвиги! Мельшин в этом отношении был более счастливым: у него оставались черновики, благодаря которым он мог, хотя и после большого напряжения, войти снова в атмосферу своей работы и затем уже более или менее

¹ 2 тома, изд. Политкаторжан; т. I вышел шестым изданием, т. II — пятым.

² См. в приложениях: «О судьбе рукописей Мельшина и Поливанова».

легко и свободно восстанавливать ее часть за частью. Но что мог бы заучивать Юрковский, когда он даже не предполагал, что попадет с Кары в Шлиссельбург, а когда он узнал об этом, ему было уже не до романов. Не пришлось ему также брать с собой каких-либо черновиков, потому что в Шлиссельбург люди приходили буквально без ничего! Поэтому, когда Юрковский, через десять лет после Кары, приступил снова к «Булгакову», то ему приходилось восстанавливать свой текст буквально заново, как вполне оригинальное произведение, и нужно сказать, что с этой задачей он справился блестяще.

Были, однако, и еще отличия в положении Юрковского по сравнению с Мельшиным и Поливановым.

Когда Мельшин закончил вторично свои «Записки бывшего каторжника», то вскоре увидел их и в печати. В 1893 г. Мельшин дописывал последние строки «Мира отверженных», а в 1895—1896 гг. к ним были уже прикованы взоры всей грамотной и мыслящей России. Почти то же самое произошло и с Поливановым. Не успели, можно сказать, высохнуть чернила, которыми был написан в сибирской ссылке «Алексеевский равелин», как листы его запахли типографской краской, несмотря даже на то, что рукопись «Равелина» должна была для этого совершить сначала далекий путь из ссылки за границу. И Мельшин и Поливанов могли себя считать вполне морально вознагражденными и за свои труды и за свои переживания.

Но мог ли Юрковский рассчитывать на что-нибудь подобное?! Это была бы такая утопия, над которой громко бы посмеялись сами заключенные в Шлиссельбурге. «Большинство узников, — говорит Н. А. Морозов, — потеряло всякую надежду выйти из своих стен или вынести за их пределы свою литературу, которой они сверх того и не придавали никакого значения. А Юрковский, помимо этого, был еще очень болен и не мог не чувствовать, что умирает. Свой роман он писал уже холодеющей рукой вечного каторжника в предсмертные минуты. На последнем его листе стоит пометка, сделанная рукой Н. А. Морозова:

«Здесь роман кончается по причине смерти автора, не вынесшего заключения».

После смерти Юрковского (31 августа 1896 г.) роман его еще десять лет оставался погребенным в Шлиссельбурге, пока наконец его не удалось вывезти оттуда в январе 1906 г. Рукопись романа вскоре после этого попадает в руки Н. А. Морозова, который и публикует ее в сборнике «Под сводами» (СПБ, 1907, изд. «Звено»). Но в полном своем виде, то-есть с своим естественным продолжением и созданным самой жизнью эпилогом, роман Юрковского появляется в сущности только теперь, через тридцать пять лет после того, как он был написан в Шлиссельбурге, — через пятьдесят лет после Кары с ее первоначальным текстом!

Такова была история текста романа. Переходим теперь к истории его автора.

2

По своему происхождению Юрковский принадлежал к так называвшимся в 70-е гг. «кающимся дворянам», к революционным отщепенцам от своей среды. Он был сыном морского офицера, дворянина, капитана первого ранга, выходцем из очень обеспеченной, патриархальной и монархически настроенной семьи. Все это отразилось и в романе «Булгаков». Семья героя романа, Булгакова, это и есть семья Юрковского. У некоторых действующих лиц он не счел нужным даже переменить имена и вывел их без всякой маскировки. Так, один из братьев Булгакова, — Андрей Булгаков, играющий в романе довольно видную роль, воспроизводит черты настоящего брата Юрковского, и по имени тоже Андрея.

Андрей Булгаков в романе — это точная копия Андрея Юрковского, каким он был в жизни. Обстановка, образ жизни, взаимные отношения членов семьи Булгаковых — все это взято с подлинной точностью из обстановки, образа жизни и взаимных отношений семьи Андрея Юрковского. Все события воспроизведены до мелочей, вплоть до той корзины с пасхальными куличами, которую герой романа, а на самом деле сам Ф. Н. Юрковский, приносит своим товарищам в их демократическую коммуны. Совершенно реальными являются и время, и место действия всех описываемых у Юрковского событий, и те участники их, которые, по отношению к семье

Юрковских или Булгаковых, стоят по ту сторону баррикады. Место действия в романе почти не расшифровывается, — только глухо дается понять, что оно находится где-то в южной России.

На самом деле это — город Николаев, сухопутная база морской фамилии Юрковских. Коммуна революционеров, которая там описывается, тоже вполне реальна со всеми своими участниками: это — николаевская коммуна Юрковского и его товарищей, из которых многие, как это мы сейчас увидим, завоевали себе через два-три года всероссийскую революционную известность. Наконец, столь же реальным является и время действия, так как мы и его имеем возможность определить теперь самым точным образом: время действия — именно 1874 г., самая светлая и самая лучезарная полоса революционного движения 70-х гг., о которой так красочно говорил Желябов на процессе по делу 1 марта 1881 г.

Самому Юрковскому в момент описываемых событий было лет двадцать пять. Такого же возраста и его герой, Николай Булгаков. Прототипом Николая Булгакова и является сам автор, Ф. Н. Юрковский, так же как брат его Андрей — прототипом старшего Булгакова. Как раз в это время Юрковский появляется в Николаеве, после нескольких лет петербургской жизни, где он уже приобрел революционный стаж и репутацию.

Свой автопортрет в романе Юрковский дает во всех мелочах, начиная с биографии и наружности, и если делает отступления, то случайные. Николай Булгаков искушен в дифференциальном исчислении и знает математику, — даже и это автобиографично: Юрковский — бывший студент-технолог. Еще ярче совпадение в описании наружности. В 1-й же главе Николай Булгаков разговаривает со своим товарищем, «графом», и тут такая сцена: «Булгаков, распахнув полы пиджака, указал на кобур с револьвером и торчащую за широким поясом рукоять кинжала» и пр. Если не в 1874 г., то несколько позже такой костюм сделался своего рода мундиром революционера,¹ но Юрковский, а не только Николай Булгаков, носил его еще тогда, когда он был

¹ Ср. в приложениях: «Н. А. Морозов о «мундире революционера» 70-х гг.».

далеко не общепринятым. От того времени до нас дошла фотографическая карточка Юрковского как раз в таком костюме, красочная и яркая; на ней Юрковский так и изображен, как он рисует своего Булгакова: с распахнутыми полами пиджака, с револьвером в кобуре и с кинжалом за поясом.

Сообразны такому костюму и другие особенности Булгакова, прежде всего сила и ловкость, переходящая в своего рода молодечество. И эти черты — автобиографичны. Ловкостью и силой, и особенно красивым молодечеством, Юрковский отличался всегда, и на воле, и на каторге. Его физическая сила была редкой, и с ним не раз происходили те сцены, которые он описывает с такой любовью и удовлетворением в конце своего романа. Ловкостью же и молодечеством он покорял товарищей даже в условиях тюремной обстановки.

Все это делало из Юрковского уже в 1874 г. — время действия романа — не мирного пропагандиста, а своего рода партизана революции, к мирной пропаганде неспособного, можно сказать, органически. Недаром же в «Булгакове» он так зло смеется над сторонниками мирной пропаганды, как только герой его появляется перед читателями. И в этом случае Юрковский не делает никаких натяжек: все это взято прямо из жизни. Как характерен в этом отношении рассказ его «Три момента», о котором мы упоминали выше. Убийство шпиона, которое там описывается, взято целиком из прошлого самого Юрковского. Это — именно убийство летом 1874 г. в Одессе самим Юрковским (совместно с Попко) шпиона Тавлеева,¹ бывшее одним из первых террористических актов в тогдашней России, в частности на юге. Уже в то время Юрковский требовал от революционеров пропаганды фактами и на сходках спорил с будущим первомайцем Желябовым, в те годы да еще и долгое время спустя (вплоть почти до Липецкого съезда) бывшим антитеррористом!

Характерной чертой общественно-политических взглядов Юрковского в эпоху этих споров является их обо-

¹ Ср. ниже, в воспоминаниях А. А. Алексеевой, стр. 230 и сл.

собленность, тоже своего рода отщепенство, от общего потока тогдашнего движения. Юрковский именно как раз в эти годы примыкает к тогдашним «набатовцам» и террористам и твердо держится этой позиции, несмотря на то, что сторонники ее составляли в революционном движении 70-х гг. ничтожное меньшинство. В статье Е. Н. Кушевой об якобинском «Обществе народного освобождения»,¹ которое приписывалось тогдашним «набатовцам», говорится даже (со слов Турского или, точнее, со слов Б. Николаевского в его статье о К. Турском), что Юрковский был в эти годы членом Общества народного освобождения, но был исключен оттуда за разглашение каких-то тайн. Это из вестие, что Юрковский входил в Общество народного освобождения, было бы вполне правдоподобным, если бы можно было доказать, что такое общество и в самом деле существовало, чего пока нет. Состоял, однако, или нет Юрковский членом Общества народного освобождения, и даже существовало или не существовало такое общество, но во всяком случае несомненно, что он не удовлетворялся постановкой вопроса о пропаганде среди народа, типичной для этих лет (1874—1875 гг.), а искал каких-то новых путей революционной деятельности и более активных средств борьбы.

Эта черта общественно-политических взглядов Юрковского в романе отразилась точно так же очень ярко. Споры, которые там ведутся о пропаганде вразброд, о пропаганде фактами, о роли штундистов и пр., могут считаться подлинным историческим материалом. Юрковский тут не сочиняет, не нарушает исторической перспективы, не искажает фактов, а просто передает в точности то, что было и что происходило у него на глазах в их коммуне в городе Николаеве. Исторически реальны и самые спорщики: под именем «Дрозденко» там выведен Дробязгин, под именем «Коваленко», увлекающегося пропагандой среди штундистов, — Ковальский, под именем «графа» — Павел Рябков и т. д. Исторически совершенно реальны, как мы увидим в дальнейшем, и женские типы николаевской коммуны, две де-

¹ См. «Каторга и ссылка», № 4, 1931, прим. к стр. 51.

вушки-сестры, «Сашута» и «Аня», или на самом деле Александра и Анна Алексеевны Алексеевы.¹ Словом роман Юрковского во всех своих частях глубоко автобиографичен, с той лишь оговоркой, что элемент автобиографический объективирован здесь в подлинном художественном произведении. И хотя оно осталось не законченным, но его общие контуры и материал для дальнейшего развития перед читателем обрисовываются достаточно ясно.

Что в самом деле дал бы нам Юрковский, если бы он стал продолжать своего «Булгакова»? Два рода материалов имелись у Юрковского под руками, — одни в уже готовом, обработанном виде, другие — в сыром. Художественно обработанные являлись как бы этюдами к будущему роману. На этом обширном полотне они заранее вырисовывали отдельные уголки. Таков, например, рассказ «Три момента». Несомненно он целиком мог бы быть вдвинут в «Булгакова», независимо даже от того, предполагал сначала это сделать Юрковский или нет. Что касается сырых материалов, художественно необработанных, то такую роль у Юрковского могли вполне сыграть его воспоминания об «упразднении» Херсонского казначейства. Роман остался недописанным, но его дописала сама жизнь, и Юрковскому оставалось только зафиксировать его конец на бумаге.

В «Булгакове» есть даже прямой подход и, конечно, не случайный к основной теме воспоминаний о херсонском предприятии в тех разговорах, которые там ведут его герои. «Откуда революция должна черпать материальные средства для пополнения своей военной кассы?» — спрашивает там (буквально словами самого Юрковского) Николай Булгаков своих собеседников, и тут же сам на это отвечает так: «Революция должна употреблять революционные приемы: конфискации правительственных капиталов — вот средства, которые лежат перед нами».

¹ См. в приложениях: «А. А. Алексеева о романе Юрковского». Обо всех упоминаемых лицах см. также «Библиографический словарь» под ред. А. А. Шиловой, изд. Политкаторжан. В дальнейшем мы его обозначаем просто как «Словарь» А. А. Шиловой.

В этом направлении и должен был развиваться логически роман, — это так ясно, что не требует особых доказательств. Юрковскому в этом случае и не нужно было воспроизводить в Шлиссельбурге своих карийских воспоминаний о Херсонском казначействе, так как это же самое он мог сделать другим путем, путем художественно объективированного рассказа. Здесь и герои у него были бы те же самые, что и в первых главах романа. Тот же Николай Булгаков, уже делающийся к этому времени «Сашкой-Инженером». Та же «Аня», выступающая под собственным именем Гали Алексеевой, и т. д.

Тут не было бы, правда, ни «Дрозденко», ни «Коваленко», но это только потому, что к моменту упразднения Херсонского казначейства один из них, «Коваленко», был уже расстрелян, а другой, «Дрозденко», ждал, находясь в тюрьме, смертного приговора и тотлебенской виселицы. Зато на их место появились бы новые лица, как женщины, так и мужчины, выдвинутые самим ходом событий. Из них особенное внимание автора привлекли бы, несомненно, двое — Россикова и Фроленко. И если бы Юрковский и в этом случае проявил такой же литературный талант, как и в первых главах, и продолжение своего романа написал бы так же картинно и увлекательно, то мы имели бы одно из самых ярких произведений революционной беллетристики с широким охватом событий и лиц, по которым могли бы восстановить интереснейшие страницы нашего прошлого.

3

Яркая и несомненная автобиографичность «Булгакова» не поддежит, как мы видели, сомнению. Эта особенность романа Юрковского имеет еще, кроме общего, одно специальное значение, на которое мы должны теперь обратить особое внимание читателя.

Обстоятельства сложились так, что ни во время революционной деятельности Юрковского, на воле, ни позже, в продолжение его каторжной жизни, в неволе, о его литературных талантах никто, можно сказать, и не думал и никто в них не мог бы даже и поверить, —

так далеки они казались от того Юрковского, которого все знали и который был у всех на глазах. И когда Юрковский, будучи на Каре, выступил со своим романом, то мысль о том, что он мог сам его написать, представлялась столь далекой для его товарищей, что они почти что единодушно поставили ее под сомнение. Утверждалось, что Юрковский не сам написал свой роман, а списал его у другого карийского заключенного, у того самого Костюрина, «Гнездо террористов» которого, по словам его жены, М. Н. Емельяновой-Костюриной, было зарыто в землю и затем затерялось.

Насколько прочно такая версия была распространена на Каре, судить сейчас, впрочем, очень трудно, но факт тот, что вместе с старыми карийцами она перешла в Шлиссельбург и надолго там утвердилась. Из старых шлиссельбуржцев ее до сих пор настойчиво поддерживает Мих. Петр. Шебакин, совершенно искренно и очень серьезно доказывающий полную в этом случае несамостоятельность Юрковского. Отголоски этого мнения, хотя, правда, в скрытой форме, мы находим даже в мемуарной печати, притом чрезвычайно авторитетной. Так во 2-й части «Запечатленного труда» В. Н. Фигнер есть такое место о романе Юрковского:

«Юрковский, соперничая с Тургеневым, дал несколько глав начатого им романа «Гнездо террористов».¹

Но «Гнездо террористов» — это и есть роман Костюрина. В чем же правда? И насколько убеждение в плагиате Юрковского, несомненно у ряда карийцев и шлиссельбуржцев имевшее место, справедливо? И есть ли у этой легенды какие-нибудь фактические основания?

С легендами бороться труднее всего. Но на этот раз, к счастью, против легенды о заимствованиях или даже плагиате Юрковского мы можем выставить совершенно неопровержимые доводы.

Конечно, самый прямой и вполне убедительный путь для решения такого вопроса о плагиате — это был бы путь непосредственного сопоставления романа Юрковского с романом Костюрина. Но можем ли мы это сделать, чтобы сразу рассеять все сомнения, так как ве-

¹ См. ч. II «Запечатленного труда», изд. 1928 г., 198.

роман Костюрина давно потерян, после того как его где-то не то зарыли в землю, не то сожгли чрезмерно панические люди, каковых, к сожалению, всегда так много?!

Да, к счастью, мы можем вполне сделать такое сопоставление «Булгакова» с «Гнездом террористов», так как на самом деле роман Костюрина вовсе не затерялся, зарытый в землю, как то сообщает М. Н. Емельянова-Костюрина, а сохранился, притом в том самом виде, какой он имел на каторге во времена Юрковского. В своем сообщении Емельянова-Костюрина, хотя она и является очень близким человеком автору «Гнезда террористов», даже не подозревает, как она далека от истины. В жизни бывают такие находки, которые даже людям, издававшим всякие капризы судьбы, могут показаться почти что сказочными по своей неожиданности. Так случилось и с «Гнездом террористов». Не без основания, конечно, оно многие годы считалось всеми безвозвратно потерянным, и тем не менее мы обладаем теперь текстом этого романа в рукописи несомненно карийского происхождения.

Произошло это следующим образом.

В 1922 г. покойный Павел Елисеевич Щеголев случайно нашел у одного из тогдашних петроградских букинистов рукописный экземпляр какого-то романа, без подписи автора, анонимного, но имевшего заглавие: «Гнездо террористов». Роман этот был в хорошем, хотя явно самодельном переплете, по-особому прочном, с кожаным корешком. По формату он подходил к книгам в одну восьмую долю листа (приблизительно), но, вместо обычной, оказался переписанным на старого типа почтовой бумаге, мелким, убогим почерком. Видно было, что над его перепиской долго и упорно трудились, как старые монахи в прежних монастырях, люди, у которых имелось достаточно свободного времени, так что четыреста—пятьсот страниц среднего почтового формата их не могли особенно обременить.

Когда рукопись «Гнезда террористов» оказалась окончательно закрепленной в руках П. Е. Щеголева, над ней по изучению ее текста была проделана соответствующая работа, а кроме того она была представлена на просмотр старым карийцам и вообще старым рево-

люционерам, хорошо знакомым с описанными там событиями и действующими лицами. Таким путем и удалось с полной точностью установить, что найденное П. Е. Щеголевым «Гнездо террористов» является: 1) карийским произведением и что 2) автором его может быть только В. С. Костюрин, носивший в свое время кличку «Алеся Попович». Какими же путями роман Костюрина с Кары попал в лавки петроградских букинистов через сорок лет после того, как где-то и кем-то был зарыт в землю, это так и осталось невыясненным. Какими бы путями, однако, это ни случилось, но факт тот, что роман этот теперь в наших руках,¹ и благодаря этому он может послужить документальным материалом для проверки легенды о заимствованиях Юрковского или даже «плагиате», допущенном им у Костюрина.

Сравнивая оба эти произведения, мы видим сразу, что между ними нет почти ничего общего ни в каком отношении. Они разнятся коренным образом одно от другого прежде всего по своей форме и по литературным особенностям их авторов. Насколько роман Юрковского литературно талантлив и насколько он сразу же заинтересовывает читателя, даже захватывает его, настолько громоздко и трудно, местами прямо обременительно чтение «Гнезда террористов». Юрковскому в этом отношении нечего было заимствовать у Костюрина и нечему учиться у него, кроме разве только того, как не нужно писать художественные произведения. Но если манера письма в обоих романах совершенно разная и ничего общего одна с другою не имеющая, то совершенно разными они являются также и по содержанию.

Юрковский описывает пропагандистов 1874—1875 гг., связывающих связи со штундистами в районе города Николаева. Костюрин, напротив, имеет дело не с пропагандистами, а с южными бунтарями, народниками-бакунистами 1875—1876 гг. Здесь мы видим целый ряд лиц, о которых Юрковский даже и не упоминает. Под раз-

¹ Пишущим эти строки роман Костюрина был в свое время получен от П. Е. Щеголева в проверенной по подлиннику копии с правом его использования и даже опубликования.

ными кличками и псевдонимами, по большей части вымышленными, но иногда и подлинными, реально историческими, у Костюрина проходят почти все крупные народники-бунтари тех лет: Дебагорий-Мокриевич (в романе «Гришка») и М. П. Ковалевская (в романе «Тася»), сам Костюрин, под именем «Дмитрия», и его жена Аня Макаревич («Нина»); затем Стефанович — «Петро»; Дейч — «Женька», имя, под которым он и в действительности был известен товарищам; В. И. Засулич — «Феклуша»; далее М. Ф. Фроленко или «Корнило» и его ближайший друг «Степан» — Дробязгин; наконец, Ковальский — «Касьян», «Волька» — Лепешинский и люди, стоящие на периферии: «Трофим» — Лефешаев; «Федор» — Курицын (впоследствии предатель) и еще несколько других, уже труднее поддающихся расшифрованию.

Местом действия всех этих южных бунтарей, как это и было на самом деле, должны были являться, по замыслу Костюрина, Чигирин и местечко Смела, столь хорошо нам знакомые по позднейшим воспоминаниям Дебагория-Мокриевича. Основной темой романа, около которой, если не строятся все действия, то ведутся все беседы (действия в романе Костюрина совсем нет, а есть только разговоры), является подготовка к партизанским выступлениям, как раз в районах Чигирина и Смелы, а средством для того, чтобы поднять или во всяком случае облегчить организацию восстания, берутся между прочим подложные «Манифесты», год через два, уже после того как бунтари были разбиты, взятые Стефановичем за основу своей тактики. Вот каковы были рамки и содержание романа Костюрина, который представлял бы несомненно чрезвычайно крупный интерес, если бы хоть в какой-нибудь степени удовлетворял своему назначению в отношении чисто литературном.

Уже из этого краткого обзора видно, что Юрковскому действительно нечего было заимствовать у Костюрина, ни в смысле, как мы сказали, формы своего произведения, ни в смысле содержания.

Но дыма без огня не бывает. Если какие-то слухи о заимствованиях Юрковского распространялись еще на Каре, то, чтобы их вполне опровергнуть, нам

мало констатировать их несостоятельность на сделанном выше сличении «Гнезда террористов» с «Булгаковым», а нужно выяснить также, на какой почве создавались такие подозрения, и не имели ли они, если не реальной, то хоть мнимой, случайной и внешней основы в каких-либо действительно имевших место совпадениях в романе Костюрина с романом Юрковского. К счастью для нас мы можем и на эти вопросы дать, кажется, достаточно точный ответ.

На Каре за время жизни там Юрковского произошла одна жуткая трагедия. Мы говорим об убийстве самими каторжанами своего товарища по тюрьме, нечаявца Петра Гавриловича Успенского. Драма эта разыгралась на обычной тюремной почве. Среди каторжских политиков шла в то время подготовка к побегу путем подкопа. Вдруг стало известным, что администрация о подкове уже знает. Было ясно, что кто-то выдал эту тюремную тайну, и когда стали разбирать, кто же изменник, то без дальних споров решили, по некоторым особенностям его поведения (объяснявшимся на деле совсем иначе), что сделал это П. Г. Успенский. Суд над ним был заочным (в камере, которая с тех пор так и стала называться — «Синедрион»), каким он только и мог быть в тюремной обстановке, но слишком поспешным и беспощадно строгим. Не проверив своих подозрений даже в той мере, в какой это можно было еще сделать, Успенского пригласили под предлогом каких-то якобы конспиративных переговоров в баню (обычное место для разных конспираций на Каре) и там повесили. Главную роль в этом деле тюремная молва отводила Юрковскому, тем более, что сила его мускулов и его решительность были слишком хорошо всем известны. Кроме Юрковского, в этом же деле принимали участие Игнатий Иванов и Андрей Баламез, но роль их считалась не столь активной, как Юрковского. Эта мрачная история стала известна официально под именем «самоубийства Успенского» (официально об убийстве никто, даже администрация, не говорил, а говорили лишь о «самоубийстве»), и она произвела потрясающее впечатление на Каре, о чем читатель может теперь судить хотя бы по недавно напечатанному в «Каторге и ссылке» воспоминаниям М. М. Чернавского, а также, впрочем, и по другим

источникам.¹ Вот это событие и положило неизгладимый отпечаток на отношение карийских каторжан к Юрковскому, тем более, что скоро обнаружилось, что у обвинителей Успенского не было данных для оправдания своей поспешности. До этого факта отношение к Юрковскому было одним, после него же оно резко переменялось. Как относились на Каре к Юрковскому до убийства Успенского, это видно, например, из следующего письма (неизданного) А. В. Прибылева.

«По части отношения карийцев к Юрковскому я могу немного сказать лишь со слов товарищей. Он поражал публику своей ловкостью и отчасти силой, выделявая необыкновенные гимнастические приемы, никому кроме него недоступные: например, залезал на печку и, оттуда сбрасываясь, садился прямо на пол. Выделял он и другие замысловатости такого же гимнастического рода и тем самым привлекал к себе симпатии. Кроме того, у него был ореол «Сашки-Инженера», а это было не мало, а потому он как бы главенствовал, а другие относились к нему с почтением. Так продолжалось до убийства Успенского, после чего публика разделилась на две половины, и противники его и Игнатия Иванова стали уже иначе относиться к обоим, даже бояться их».

Как раз в это время на Кару пришла партия «централистов» из харьковских «Печенежек», и один из них, именно С. Ф. Ковалик, пишет про Юрковского: «На Каре я увидел его физически совершенно разбитым, но еще бодрым духом; симпатиями среди товарищей он мало пользовался».² Да и не мог пользоваться, так как роль его в деле Успенского была всем известной. На этой вот почве отрицательного отношения и стали создаваться, между прочим психологически вполне понятные, невыгодные для Юрковского слухи, а в частно-

¹ См. статью в «Каторге и ссылке», кн. 28—29 (или по хронологической нумерации, кн. 7—8 за 1926 г.). См. также об убийстве Успенского статью С. П. Богданова в сб. «Кара», ред. А. В. Якимовой-Диковской и В. Плескова, изд. Политкаторжан, М., 1927, и там же статью Н. А. Виташевского.

² См. в приложениях: «Ковалик и Чарушин об Юрковском».

сти сопоставления его с Костюриным, а «Булгакова» с «Гнездом террористов».

Что Юрковский, благодаря своему молодечеству, своей физической силе, некоторой бесшабашности своей натуры и другим аналогичным способностям мог принимать участие в таких делах, как расправа с Успенским, — это всем было понятно. Но чтобы он был еще и литератором, тонко чувствующим, умеющим передать эти чувства в художественной форме, всегда требующей особой одаренности натуры, — это, напротив, казалось невозможным.

С другой стороны, как нарочно, в его романе оказалась действительно некоторое совпадение в содержании, — хотя отнюдь не в форме, — с «Гнездом террористов». Это касается именно главы 3-й «Булгакова», озаглавленной «Толкучка», и 3-й главы «Гнезда террористов», особого заглавия не имеющей, как, впрочем, и все остальные главы этого романа. Как это, может быть, ни покажется странным, но факт состоит в том, (и карийцы не могли не схватиться за это), что Костюрин в своей 3-й главе (собственно во второй половине ее) описывает такую же, если не ту же самую коммуны и в том же городе, в Николаеве, как и Юрковский, и выводит здесь почти тех же самых лиц, какие выведены в «Булгакове».

Тут у него фигурирует прежде всего Ковальский — «Касьян», играющий роль хозяина коммуны, и его антипод «Степан», или Дробязгин, как и у Юрковского. Затем здесь же выступает некая «Леля» («молодая девushка с нежными, тонкими чертами лица, правильными, как у мраморного изваяния, с чуть заметным румянцем» и пр.), в которой можно угадывать «Аню» из «Булгакова»; далее брат ее («Панич»), разная молодежь и еще несколько второстепенных лиц. Внешняя обстановка этой коммуны, несмотря на то, что хозяин ее другой, некоторые бытовые подробности (возня Ковальского — «Касьяна» с самоваром), наконец, самое место действия (город Николаев) и еще кое-какие детали — все это сближает действительно эту главу романа Костюрина с «Толкучкой» Юрковского. Не лишено вероятности предположение, если бы кто-нибудь его сделал, что, быть может, именно эти места романа Костю-

рина навели Юрковского на мысль самому описать тех людей и события и разговоры, которые тут имели место, и самому попробовать силы на аналогичном художественном произведении.

Тут нет ничего невероятного, так как роман Костюрина был написан несомненно прежде романа Юрковского. Нет тут невероятного и в том отношении, что события и обстановка и люди, описанные у Костюрина, были Юрковскому лучше известны, чем автору «Гнезда террористов», который как раз в этой части своего романа допустил ряд анахронизмов и прямых искажений действительности,¹ исправленных впоследствии у Юрковского.

Отсюда, из этого, правда, чисто внешнего совпадения, и могло появиться у читателей-карийцев, особенно не вполне расположенных к Юрковскому, для которых он являлся лицом непопулярным, представление, что Юрковский не сам писал свой роман, а списывал его у Костюрина, тем более, что кто же мог бы вообще подумать, что «Сашка-Инженер» обладает не только молодечеством и казацкой удалью, а еще и литературным талантом. Убийца Успенского и вдруг — романист, соперничающий с Тургеневым в картинном описании революционного быта! Кто бы этому поверил!

¹ В этой главе фигурирует между прочим М. Ф. Фроленко под именем «Корнилы», изображаются его отношения с «Лелей», приводятся споры между ним и Ковальским и Дробязгиным о штунде и пр. Сам М. Ф. Фроленко по поводу всех этих мест в 3-й главе «Гнезда террористов» пишет (неизданное письмо): «Все разговоры, споры в этой главе надо всецело отнести в область вымысла романиста. Ничего, кроме отдельных фраз, реального, действительно характерного для всех собравшихся она, насколько тут говорится обо мне, Ковальском и Дробязгине, не имеет. «Панича» и «Лелю» я не узнал и лишь догадываюсь, что это могла быть Алексеева с братом, но тогда всю сцену надо перенести в Одессу. Я и Дробязгин, пристав к бунтарям, уже закончили все вопросы о штунде и о деньгах и разные другие теоретические разногласия. Все эти вопросы могли подниматься раньше и вероятно поднимались, но

Эти обвинения и этот скептицизм были своего рода мстостью Юрковскому за его роль в деле Успенского, это была полемика с ним, желавшая уязвить его в наиболее болезненное для всякого литературного работника место; это было, можно сказать, почти сознательное и преднамеренное отрицание даже таких его способностей и качеств, которые у него несомненно имелись, о чем теперь мы можем судить гораздо объективнее и спокойнее, чем раньше судили противники Юрковского в угаре тогдашней карийской жизни.

Совпадение в «Булгакове» с «Гнездом террористов», хотя чисто внешнее и имевшее совсем особое значение, пришло в эти кошмарные дни карийской жизни как раз кстати, чтобы еще более подорвать ставшего непопулярным, но популярного прежде «Сашку-Инженера». Как сильно можно было ударить его этими обвинениями в плагиате!

Между тем Юрковский не мог быть в «Булгакове» плагиатором, так как это роман автобиографический, а роман автобиографический плагиатом никак не может быть. Но не касаясь здесь вопроса об общих литературных способностях Юрковского (которые несомненные), а останавливаясь лишь на одном том предположении, что глава 3-я «Гнезда террористов» могла навести Юрковского на мысль самому написать роман на аналогичную

мы с Дробязгиным в этом неповинны. С другой стороны, и никакой Лели я не помню, чтобы в то время она меня могла так заинтересовать, а главное мне вести с ней такой игривый разговор, когда я и со своим-то братом мужчиной не особенно был разговорчив. В другом месте, по поводу молодежи, собиравшейся у «Касьяна», М. Ф. Фроленко замечает: «Подобную молодежь Ковальский собирал в Одессе, но в Николаеве этого при мне не было». Это указание М. Ф. Фроленко подтверждается также документальным материалом. См. в «Каторге и ссылке», кн. 44—45, ст. П. Мартыновской о Ковальском, стр. 93. Напротив, в романе Юрковского все эти недочеты и анахронизмы устранены, а сами действующие лица, с литературной точки зрения, изображены вполне реальными, и вообще у Юрковского надуманных и холодных лиц, а не живых, совсем нет.

тому, — а это, повторяем, вполне возможно, — мы, тем не менее, должны будем все-таки сказать, что откуда до каких-либо заимствований, не говоря о плагиате в точном смысле такого слова, еще очень далеко. Тему, если и навеянную Костюриным, Юрковский разработал совершенно самостоятельно, на вполне оригинальном автобиографическом материале, который он мастерски обработал в литературном отношении, сумевши дать свежее, яркое, вполне литературное произведение, даже и теперь, по прошествии сорока—пятидесяти лет, заинтриговывающее всякого непредубежденного читателя.

4

Оригинальность творчества Юрковского доказывается, однако, не только всеми этими соображениями. В «Булгакове» есть одно лицо, которое никак и нигде и ни у кого не могло быть списанным, хотя оно фигурирует в главе 3-й «Гнезда террористов» того же Костюрина. Это та девушка, которая у Костюрина называется «Леля», а у Юрковского — «Аня».

«Аня» входит в роман Юрковского в его последней, 4-й главе, которая так и называется «Она явилась». К этой главе есть эпиграф:

Явилась ты: как пташка к свету
Рвалась к тебе душа моя!
Волшебной предести привету
Невольно покорялся я!

С появлением на сцену «Ани» собственно и начинается роман Юрковского. Из 4-й главы даже слепому будет видно, что при первом же своем появлении героиня «Булгакова» заполнила сразу всю душу Юрковского и отныне, как только она перешагнула порог николаевской «Толкучки», стала неразрывной частью его самого. Ни сочинять, ни списывать, ни вообще заимствовать все то, что тут так трогательно описано, Юрковскому не было никакой нужды. Быть может, из всего введенного им в роман эта часть наиболее оригинальна, так как в ней все до мелочей лично пере-

житое, индивидуальное. Глава эта более чем все другое — автобиографична. Сама героиня ее тоже, как это уже было выше сказано, лицо не вымышленное (вымысла и тургеневской «выдумки», повторяем, в «Булгакове» вообще нет), а реальное, действительно существовавшее.

«Аня» из «Булгакова» здравствует и поныне. Теперь она семидесятипятилетняя ветеранка революции, а в то время двадцатилетняя девушка. Портрет ее мы видели уже в цитате из «Гнезда террористов» Костюрина. Подробно и красочно описывает свою «Аню» также и Юрковский в «Булгакове». Роман обрывается как раз на том, где на сцену является его главная героиня, озаренная всеми красками молодости, и, тем не менее, и в этой литературной идеализации, вполне реальная.

Но для Юрковского не литератора, а человека и революционера, каким он был в самой жизни, не являлось важным, что «Булгаков» обрывается в тот самый момент, когда «Аня» появляется на его страницах. Роман, оборванный здесь на полуслове, нашел еще более яркое воплощение в самой действительности, и отныне образ героини «Булгакова» станет сопровождать Юрковского по всему продолжению его жизненного пути, вплоть до Шлиссельбурга. Здесь и будет настоящий эпилог романа Юрковского. Попробуем же проследить некоторые перипетии этой стороны жизни автора и посмотрим, какой материал она дала бы ему для своего художественного перевоплощения.

«Аня» — она же Алексеева, Анна Алексеевна — была человеком совсем другой среды, чем Юрковский. Юрковский — выходец из дворян, из очень обеспеченной среды, духовно сделавшейся ему давно уже совершенно чуждой. Он сам называет себя в «Булгакове», по отношению к своей семье, «отрезанным ломтем». Алексеева, напротив, не дворянка, а дочь мелкого чиновника, учителя, — представителя той общественной группы, которая носила в то время название *разночинцев*. В союзе Юрковского с Алексеевой мы имеем, таким образом, нечто символическое, так как и все революционное движение 70-х гг. выросло в социальном отношении на этой базе сочетания двух элементов — «кающегося дворянства» и «разночинства». Эта послед-

ная сторона в жизни Алексеевой, особенно в ее детские годы, сказалась с особенной силой. Формально, правда, Алексеевы были тоже «землевладельцами»: у них имелся вблизи тогдашней Одессы (лет семьдесят тому назад), на берегу моря, в местности, которая называлась (и теперь называется) «Большой Фонтан», довольно значительный клочок земли,¹ но доходов он не приносил никаких, даже больше того — являлся бременем для семьи. Сама Алексеева дает об этом хуторе и о своем детстве, и о своей семье такие сведения:

«Отец мой был народный учитель, не имевший ни кола, ни двора.

Хутор, тогда пустырь, ничего не стоивший, состоял из тридцати восьми десятин на берегу Черного моря, был дан в приданое моей матери, которая сделала его на имя моего отца... На этом хуторе стоял лишь один домик в крестьянском стиле, он и сейчас сохранился, теперь он принадлежит доктору Евгению Федоровичу Громковскому.

Семья наша состояла из одиннадцати душ: отец, мать и девять детей, страшно бедствовала, так как хутор не приносил никакого дохода. Отец был в отставке, он не мог преподавать по звуковому методу, тогда только что вводившемуся.

Вся семья жила в одной комнате с кухней в доме Вицмана на Ямской (теперь Новосельской).

Дядя, меньшой брат моей матери, Константин Александрович Самойлов, заседал мамину землю. Он был хлебороб, огородник и садовод. Жил он у себя на хуторе, в четырех верстах от Большого Фонтана к западу, то есть от Черного моря (теперь там Червонный хутор). С ним, холостяком, жила его мать, которой принадлежала эта земля. На ней сначала ничего не было, кроме курена без дверей. От волов прикрывался вход, вместо двери, снопами. Так было, когда я была ребенком. Потом дядя Костя построил домик из двух комнат с кухней, низенький, небольшой, но очень уютный.

¹ В то время в нем было 38 десятин, а теперь осталось 600 сажень. Весь этот хутор был заложен отцом А. А. Алексеевой за 200 руб. Таковы были в те годы цены в окрестностях Одессы на землю.

Началось относительное благополучие, и мы отдыхали там каждое лето после мучительной зимы с ее голодом и холодом.

Я училась в пансионе фон Оглю, где занятия начинались с девяти утра и тянулись до пяти вечера. Правда, был перерыв от двенадцати до часу, употреблявшийся для завтрака. Завтрак необходимо было приносить в салфеточках, но как я могла принести его, когда у меня не было не только салфеточки, но и никакого завтрака, кроме куска житного хлеба на весь длинный учебный день. Помню картину, которая до сих пор приводит меня в трепет, несмотря на то, что с тех пор прошло шестьдесят лет!

Во время обысков, установленных в этом пансионе, находит классная дама в моей классной сумочке кусок житняка и в наказание вешает мне его на шею, чтобы весь класс видел мой «позор». «Солдат, солдат», — кричат соученицы, наевшиеся только что квасных котлет, жареных дыплят и проч. Я горю от негодования, голода и проч. и, несмотря на то, что страшно хочу есть, стараюсь незаметно для классной дамы раскрошить этот «позорный» хлеб, чтобы прекратить издевательства над собою...

Другой раз в моем кармане находят две печеных картошки и тащат меня за это преступление к начальнице гимназии, буквально тащат по мраморной лестнице. Я упираюсь, бьюсь коленями о мрамор, заливаюсь горькими слезами от смешанного чувства... Виновата ли я, что мы зародились в такой нищете?!

Помню картину очень далекого детства: громадная комната, посредине солома, накрытая рядом, и на ней куча детишек. Неподалеку корыто, расколотое, утыканное тряпками, в которое с потолка каплет вода.

— Было ли когда-нибудь так? — спросила я, уже будучи взрослою, свою мать. Она ахнула... «Ведь тебе было тогда два с половиной года. Отец твой был тогда учителем в селении Татарка, неподалеку от Одессы».

В каком-то селе мы бегали с крестьянскими ребятами и, жуя белый хлеб, сильно высовывали языки, чтобы показать, что и нам доступно такое лакомство. О! Неприглядное детство!

Очевидно, хлеб этот привозила незабвенная наша бабуса. Она очень любила нас, баловала, и каждое лето

мы приезжали обедать нашего труженика-дядю Костю, который много раз с гордостью рассказывал, как важное лицо, занимавшееся благоустройством города Одессы, посылало за дядиным отцом, который был очень образован, чтобы дед наш помогал устраивать город. И строитель этот говорил нашему деду: «Самойлов, покупай землю, настанет время, когда каждый шаг этой земли будет стоить шапку золота». И дед покупал! Покупал ничего не стоящую землю, которая не приносила никакого дохода.

Когда он умер, наша дорогая бабуся была обречена на нищенское существование. Она осталась двадцативосьмилетнею вдовою с шестью детьми и многими пустырями.

Если бы не выдающаяся способность дяди Кости, вряд ли мы, детишками, могли бы приезжать к нему каждое лето.

Бабушка, полновластная хозяйка, ничего не жалея для нас, ни сливок, ни сметаны, ни роскошных фруктов, постоянно присылала своего «Костю» за нами. Она была безграмотная албанка, в свое время красавица, но я ее не помню красивою: беззубая, нос почти доходил до рта, лицо все в глубоких морщинах. Прекрасны были только ее большие черные глаза. Но мы ее любили не меньше, чем свою красавицу, кроткую, мягкую, в высокой степени добрую и снисходительную мать.

Бабушка была сурова, но мы не чувствовали ее суровости. Все, что она имела — все было наше. Она так сильно любила нас, что на старости — ей уже тогда было семьдесят два года — пожелала учиться грамоте. «Ой, годи Гандзя, минн робитсья млосно», — говорила она мне часто, повидимому, изнемогая.

Она хотела быть грамотной, чтобы переписываться с нами, когда мы жили в городе.

Другая бабушка была для нас незаметной... Она была крепостная, которую дед наш, генерал Хомяков, заставил, когда ей было всего пятнадцать лет, сожительствовать с собой, откуда и был произведен на свет мой горемычный отец.

Тяжко шла наша жизнь... Не хотела бы я быть ребенком, чтоб вновь пережить то, что я пережила в своем неприглядном детстве.

Но когда кончилось это неприглядное детство, для Алексеевой начались новые испытания, быть может, еще горшие. В «Булгакове» о них, правда, ничего не говорится, но в воспоминаниях о Херсонском казначействе Юрковскому пришлось уже бросить несколько слов и на эту тему,¹ а затем еще более останавливаться на них в письмах по пути на Кару и с самой Кары. Здесь жизнь сама подводила итоги его роману и сразу намечала, каков будет его конец.

Первые итоги были подведены еще арестом «Ани», Алексеевой, в сущности вполне сознательно (чего не отрицает и Юрковский в своих воспоминаниях) пожертвовавшей своей свободой для спасения столь близкого и дорогого ей человека. Когда она уговаривала Юрковского бежать из Алешек после визита к ним исправника Маловички (см. ниже, воспоминания Алексеевой, а также и самого Юрковского), она не могла не понимать, что это грозит им почти вечной разлукой.

Так и случилось. Их разлучила тюрьма.

Первое время более счастливый жребий выпал на долю Юрковского: он был на воле, когда Алексеева находилась в тюрьме. Имя Юрковского, как «Сашки-Инженера», гремело тогда по всей России и о нем писал не раз даже сам Катков в «Московских ведомостях».

Мы видим его в этот период и в Одессе, и в Москве, и в Киеве, и в Петербурге, везде нелегально. В Петербург он приезжает в августе 1879 г., когда только что начала складываться партия «Народная воля». К этому моменту относится красочный рассказ о встрече с Юрковским В. Н. Фигнер, в 1-й части «Запечатленного глупца».²

Под конец, однако, счастье изменило Юрковскому, и он был арестован в Путивльском уезде Курской губ., в имении Стаховских, при исключительно трагической обстановке.

Из тюрьмы уже в Киеве товарищи пробовали устроить ему побег, но неудачно. Подготовка к побегу была выдана одним предателем.

¹ См. ниже, стр. 211.

² См. в приложениях: «Юрковский и народовольцы».

Потом был суд, суровый приговор, смягченный до двадцати лет каторжных работ; потом этап в Сибирь. А впереди на несколько этапов шла в ссылку в ту же Восточную Сибирь осужденная еще ранее его «Аня» Алексеева.

Оторванный за время нелегальных мытарств от героини своего романа, Юрковский мог теперь, хотя и в кандалах, ручных и ножных, со скованной волей, но со свободным чувством, снова вернуться к работам о личной жизни.

Основной задачей Юрковского за этот этапный путь было стремление во что бы то ни стало оформить свои отношения с героиней своего романа, повенчавшись с нею. Это давало бы им возможность быть вместе даже на каторге, ему — в тюрьме, а ей — тут же на поселении. Но оба они, и Юрковский и его «Аня», не учли тех препятствий, которые стояли на этом пути.

Юрковский шел на двадцать лет каторги. Из этих двадцати лет, по тогдашним законам, считалось одиннадцать лет так называемого испытываемого срока. Закон не запрещал Юрковскому оформить свои отношения с его спутницей жизни, — закон гласил лишь, что сделать это он имеет право не ранее, чем по истечении испытываемого срока. Чтобы узаконить свои отношения со своей собственной женой, ему нужно было предварительно прождать всего лишь одиннадцать лет, и после них он был свободен располагать своей судьбой!¹

За все то время судьба послала им только один светлый момент: свидание в Иркутском тюремном замке, разрешенное губернатором Педашенко.

На этом свидании Юрковский дал клятву своей «Ане», что он бежит с каторги во что бы то ни стало и освободит ее из плена.

Через какой-нибудь год после этого Юрковский сдержал свою клятву. В мае 1882 г. он принял участие

¹ Кроме Юрковского, совершенно такая же драма с отказом в венчании произошла впоследствии у П. Ф. Якубовича с его невестой Р. М. Франк. См. об этом во 2-м томе «Мира отверженных», изд. Политкаторжан, М., 1932, в «Рассказе Штейнгардта» (стр. 32—41) и в примечаниях Д. П. Якубовича, стр. 366—367.

в знаменитом побеге карийских каторжан (через мастерские), вырвался за стены тюрьмы и был уже на пути к полной свободе. Но жизнь подвела тут последний итог его роману, — за клятву, данную в Иркутске, он заплатил Шлиссельбургом!

«Эта тюрьма — ваша могила», — говорил генерал Шебеко в камере Тригони в 1889 г. в Шлиссельбурге.

Генерал ошибся относительно Тригони, но оказался прав по отношению ко многим другим, в том числе и по отношению к Юрковскому. 31 августа 1896 г. Юрковский умер в Шлиссельбурге.

В том же году его «Аня» возвращалась из сибирской ссылки в Россию!..

Евгений Колосов



БУЛГАКОВ

РОМАН

ПОСВЯЩАЕТСЯ Л. А. ВОЛКЕН-
ШТЕЙН

Вам, дорогая Людмила Александровна, посвящаю скромный труд свой в свидетельство дружеского расположения и воспоминания того слова участия, которым Вы подарили меня в трудную годину жизни. Прошу верить, что время никогда не изгладит моего глубокого чувства и признательности к вам за это доброе слово.

Ваш Инженер

ГЛАВА I

В ОБСЕРВАТОРИИ

Среди зеленеющих деревьев одичалого парка гордо высятся к облакам главный купол и боковые башни обсерватории, с которой в часы безмолвной ночи несколько унций человеческого мозга, вооружась гигантскими телескопами, следят за бесконечным движением вселенной, подсматривая сокровенные тайны мировых законов.

Обладатель этих нескольких унций мозга, Иван Егорович Соломин (отец того самого Соломина, которого Иван Сергеевич Тургенев женил на Марианне после смерти Нежданова), слывет в городе за человека ученого, умного, непоколебимо честного и — что всего важнее — в высшей степени обходительного и любезного, почему он был всеми не только уважаем, но и любим.

Соломин бесспорно стоит целой головой выше окружающего его провинциального общества. Будучи сыном спившегося с круга, старого, отставного капитана, без всякой протекции, с образованием армейского юнкера, он сумел пробить себе дорогу исключительно своими силами и достиг высоты общественного

положения не лакейским умением прислуживаться, а единственно благодаря собственному уму и энергии. В Крымскую кампанию, еще совсем молодым юнкером, он был ранен в сражении при «Черной речке». Неприятельская, или вернее своя, пуля попала ему в пятку. Рана выходила немножко двусмысленная для военной репутации, и Иван Егорович, шутя, любил ссылаться в свое оправдание на пример Ахилла, который тоже уязвлен был в пятку, но которого, разумеется, никто не заподозрит в трусости.

Вслед за тем он получил производство и отпуск для излечения. Пользуясь этим свободным временем, Соломин налег на занятия, приготовился к академии и блистательно окончил ее геодезистом. Затем он был на несколько лет прикомандирован к Пулковской обсерватории в качестве помощника известного нашего, как всегда немецкого, астронома Струве, и, получив, наконец, самостоятельное назначение в провинции, женился перед отъездом из Петербурга на семнадцатилетней институтке, красавице Зинаиде Булгаковой, только что вышедшей из Смольного. С этой минуты жизнь Ивана Егоровича вполне определилась: он смотрел в небо, целовал жену и ел ростбиф.

Если прав Флеровский, утверждая, что истинное назначение человека состоит в том, «чтобы плодить жизнь на земле»,¹ то — надо сознаться — нигде это назначение не выполнялось с такой добросо-

вестностью, как в семействе Ивана Егоровича. Его дом был полная чаша. Каждый год господь посылал Зинаиде Александровне то мальчика, то девочку с голубыми или карими глазками, с вьющимися золотистыми локонами, маленькими, стройными и прелестными, как херувимчики. В настоящее время таких херувимчиков была уже довольно длинная вереница. Старший Вася (будущий муж тургеневской Марианны) в настоящую минуту семилетний мальчик с крупными чертами лица отца. Затем по порядку своего выхода в свет: Ваня, Инна и Нина, мал мала меньше, — один другого краше.

Предметом постоянной любви и заботливости всех этих деток была прекрасная, пятнистая с бархатными ушками кошечка «Мими», у которой, в свою очередь, были премиленные крошечные котята с черными спинками и желтыми полосками на боках.

А в конюшне, вместе с парой сытых гнедых лошадок, проживал тоже очень миленький, белый как снег, с красной мордочкой ангорский козленок «Биби», между тем как на дворе бегала большая предобрая собака «Дамка», которая также спешила пользоваться жизнью как умела и была теперь обременена многочисленной семьей толстеньких, кругленьких щенят с розовыми лапками и синими глазами... Все эти котята, козлята и щенята радовали своим появлением на свет и детей, и добрую Зинаиду Александровну, и их любимую «Тетю Катю», или «Тетю Птичку», как метко прозвали дети дальнюю родственницу Ивана Егоровича,

¹ См. в приложениях: «О книге Флеровского».

пожилую деву, проживавшую у них в доме на хлебах. Маленькая, поджарая, чрезвычайно подвижная и суетливая, с крошечными круглыми глазками, вздернутым носиком и остреньким выдававшимся вперед подбородком, она действительно выглядела какой-то трясогузкой. Сходство с «птичкой» еще дополнялось особым цветом и покроем платья, с пестрой пелериной, вечно оттопыривающейся наподобие крыльев, вследствие привычки беспрестанно взмахивать руками и как-то особенно выворачивать локти наружу.

Наконец в семью входила еще в качестве добавочного, так сказать, низшего члена стройная девушка Маша, с добрыми, умными глазами, всегда скромно опущенными вниз, с густой косой, тяжелым жгутом обвивавшей ее правильно посаженную красивую головку. Она неразлучно всюду присутствовала при детях, живя в доме уже более шести лет. Соломиным она так сразу понравилась своим скромным, услужливым нравом, что они порешили привезти ее с собой на юг России из Петербурга.

Маша была из тех миловидных созданий, которые выродились в особый тип петербургских горничных-барышень и которых можно видеть во всех порядочных «chambres garnies». Всегда одетые с безукоризненной чистотой и изяществом, с правильными личиками, принявшие белизну и нежность комнатных барышень, они до такой степени усвоили себе приличные приемы последних, так хорошо переняли их манеру держаться и говорить, что, отворив парадную

дверь какому-нибудь простодушному посетителю, часто ставят его втупик относительно того, с кем он имеет дело: с горничной, с хозяйской дочкой или, наконец, не с женою ли того самого столичного дельца, к которому он пришел с своими провинциальными делишками?

Однако, Маша уже начинала выходить «из лет» и составляла предмет тайных забот Зинаиды и даже самого Ивана Егоровича, по понятиям которых ее непременно следовало выдать замуж, для полной гармонии с окружающим. Вообще же весь склад семейной жизни на обсерватории катился ровно, без толчков и тревожений, несколько, правда, монотонно, как бы по раз навсегда установленному, заведенному шаблону, все в свое определенное время, смахивая немного на английский лад. Никакой сухости и деловитости не было: здесь все любили друг друга, относились просто и искренно, никто никому не досаждал. В доме не раздавалось ни одного резкого слова. Иван Егорович всегда ровно и сдержанно относился к жене; жена относилась сдержанно к детям; дети также сдержанно обращались с Машей и друг с другом, никогда не дрались и были так хорошо выдержаны, что почти совсем даже не плакали.

По утрам Зинаида сама одевала и ласкала своих деток. После обеда из собственных рук кормила и ласкала кошечку «Мими», а по вечерам сама, как кошечка, ласкалась к мужу. Таким образом, все здесь казалось тихо и безмятежно. Но на земле нет полного счастья, и

человек в самом себе носит зародыш страданий, которые чем-нибудь да смутят блаженный мир его счастливого существования. Дело в том, что Иван Егорович, при всех своих несомненных достоинствах, имел один неоспоримый недостаток: он был ревнив, как турок. И это тем непростительнее, что Зинаида Александровна никогда не подавала (он это ясно видел) ни малейшего повода; она была истой римской матроной, выше всяких подозрений. Но если Иван Егорович и был подвержен припадкам «африканской страсти», из этого еще отнюдь не следует полагать, чтобы она проявлялась у него в своей первобытной варварской форме. Нет. Цивилизация входила и здесь в свои права: он не хватался за кинжал, как Отелло, не раздражался длинным, страстным и трагическим монологом, а просто-напросто отправлялся в свой кабинет, ложился лицом к стене и оставался в таком положении, неподвижно лежа и не принимая ни пищи, ни питья — сутки, двое или трое (судя по обстоятельствам) — и отвечая на все обращаемые к нему вопросы одной и той же неизменной фразой: «Оставьте меня». Зинаида приходила в таких случаях в совершенное отчаяние и окончательно теряла голову. По несколько раз, вся в слезах, подходила она к дверям кабинета, упрашивая мужа встать или хоть сказать ей что-нибудь. Она то подсылала Машу звать «барина к обеду», то, наконец, прибегала к последнему средству — посылала детей. Но все было тщетно, и все возвращались с тем же стереотипным ответом:

— Оставьте меня.

Дело оканчивалось обыкновенно тем, что на второй или третий день пароксизма Зинаида, истерзанная угрызениями совести, не выдерживала этой пытки. Уложив пораньше детей, она приходила к мужу, садилась к нему на постель и, припав к его плечу, рыдая отдавалась на «всю его волю». Тогда под покровом ночи совершалось трогательное примирение супругов. На следующий день Иван Егорович вставал в обычный час, как ни в чем не бывало, и все шло своим порядком. Только кто-нибудь из знакомых (преимущественно из молодых военных) подвергался «остракизму», т. е. Зинаида весьма тонко давала почувствовать осужденному, что ему следует являться только с визитом на Рождество или на Новый год.

Был уже одиннадцатый час ночи, наступившей после первого дня Пасхи, — этого милого и бестолкового дня в нашей жизни, когда все едят с утра до вечера и никто не может сказать с уверенностью, сыт ли он или голоден, — когда одна половина населения визитирует, в полной уверенности, что этим оказывает своим друзьям самую большую любезность, а другая половина принимает их, тоже не без основания полагая этим оказать первым самое крупное удовольствие.

Все взрослые домочадцы обсерватории сидели у пасхального стола в большом круглом зале с мраморною колонною, поддерживающей его сводчатый потолок. Почти весь стол был сплошь заставлен бабами, папушиками и кули-

чами. На громадных серебряных блюдах краснели окороки, перевитые разноцветною бахромою, или поджавши ножки возлегал жареный поросенок, разукрашенный множеством бумажных ленточек, синих, голубых, розовых... А рядом возвышалась белая, как мрамор, монументальная пирамида из сырной пасхи с коринкой, и тут же — по южному отличительному обычаю — молодой барашек, с золотыми бумажками на хвосте и вокруг шеи. А близ него кусок свиного сала, без которого ни один хохол не разговееется. Все это, залитое ярким светом люстры, было красиво для глаз и в то же время составляло приятный сюжет для аппетита. Около хозяйки, на низком табурете, весело шумел вычищенный, как зеркало, большой томпаковый самовар. Из посторонних присутствовал один только художавый блондин, совсем еще молодой человек, который пискливым голоском распространялся о великом значении классического образования, обращаясь чаще всего к Соломину.

Разговор поддерживался довольно вяло, и когда обрывался, то в комнату доносилось завывание ветра, и по временам крупные капли дождя барабанили в стеклянную дверь, выходящую на парадное крыльцо.

На дворе в это время разыгрывалась одна из тех южных ночей, которая известна под именем «воробьиной ночи». Сильный, почти штормовой, ветер нагнал густые черные тучи, которые совершенно заволкли все небо так, что не видно было ни одной звездочки. Темнота, — как говорится, хоть глаз выколи, — казалась

еще непрогляднее от беспрерывно сверкавшей по всем направлениям яркой молнии, сопровождаемой неумолкаемыми раскатами грома.

Под проливным дождем, по едва проторенной тропинке, извивающейся между редких древесных стволов и густых кустарников, почти ощупью, шел какой-то человек. Он шагал наугад, беспрестанно сбиваясь с тропинки, то и дело натываясь на какой-нибудь колючий кустарник или выдававшийся сук дерева. Свою досаду и нетерпение в таких случаях он изливал в энергичных эпитетах, посылаемых этим препятствиям, не очень лестных для них.

Дойдя до ворот обсерватории, он нащупал ручку калитки и, убедившись, что она заперта изнутри, стал быстро и ловко перелезать через ворота. Но едва он успел опуститься во двор и сделать несколько шагов от ворот по направлению к ярко светящейся стеклянной двери подъезда, как на него со свирепым лаем бросилось несколько громадных «чабанских» собак. Хорошо зная, что это за чабанские собаки, он было сделал шаг назад к воротам, но тотчас же убедился, что отступать было поздно. Тогда незнакомец употребил тот оригинальный прием, который известен только немногим знатокам собачьего сердца. Он вдруг сам бросился с громким лаем на разъяренных животных. Штука удалась вполне: собаки в ужасе рассыпались и, поджав хвосты, с визгом разбежались в разные стороны, очистив путь к крыльцу, на которое он и поспешил взой-

браться с легким чувством человека, счастливо вышедшего из затруднительного положения. Окинув взглядом ужинающих, он побарабанил пальцем по стеклу. Сидевшие за столом переглянулись.

— Кто бы это так поздно? — произнесла Зинаида Александровна.

— А вот сейчас увидим, — ответил Иван Егорович, подходя к двери и поворачивая ключ.

Дверь открылась, и в комнату вошел высокий, широкоплечий брюнет в несколько поношенном и совершенно измокшем на дожде студенческом пальто, в больших сапогах, в черной пуховой «бандитке», свирепо надвинутой на лоб почти до линии густых сросшихся бровей, из-под которых насмешливо глядели блестящие карие глаза.

— Николай!.. Вот кого уж никак не ожидали! Ну, Христос воскрес! — приветствовал гостя Соломин, протягивая ему руку.

— Что вы говорите? Неужели воскрес? — произнес тот, комически удивленно подняв брови.

Между тем остальная публика, повставав из-за стола, уже окружила прибывшего, который успел стащить с себя и бросить в угол прямо на пол измокшее пальто и «бандитку».

— Ну, не хочешь христосоваться. поцелуемся хоть так; надо же поздороваться! — сказала Зинаида.

— Это можно, — отвечал тот, беря ее руку в свою, а другой обнимая вокруг шеи. — во-первых, потому, что ты мне сестра, а во-вто-

рых, потому... что ты... все-таки женщина красивая! — добавил он; звонко целуя пышные розовые губки хозяйки, причем левый глаз его слегка прищурился в сторону ее мужа, который старался не смотреть на этот процесс братского целования.

— Здравствуйте, «Тетя Птичка», — продолжал Булгаков, — вы более не стареете, потому что уже совсем состарились! Так, кажется, говорят комплименты?

— Ах, шалопай, шалопай! — протянула нараспев тоненькой фистулой тетя Катя, взяв его слегка за ухо. — Ты поди-ка сюда, да поговори вот с ним... Ах! это преинтересно: «реалист» и «классик».

— Погодите, тетя Катя! — остановил ее Иван Егорович, усаживая гостя рядом с собой, — дайте ему сначала поесть чего-нибудь!

— Что тебе положить: барашка или ветчины с горошком? — спросила Зинаида, держа в руках тарелку и вооружившись серебряной вилкой.

— И того и другого!

— Маша, достаньте из буфета ром! — распорядился Иван Егорович.

— Говори, говори, повеса, где был? Чего шляешься по ночам? Ну, признавайся сейчас! Откуда ты так поздно? — тараторила тетя Катя.

— Прямехонько из восемнадцатого столетия!

— Это что такое за восемнадцатое столетие? — удивилась Зинаида.

— Кажется, столетиями определяется время, а не место, — заметил Иван Егорович.

— Конечно так. Но дело в том, что нынче времена восемнадцатого века сохранились только в одном месте, и это место — дом Виртинга!

Это объяснение вызвало взрыв дружного хохота. В доме Виртинга квартировала мать Булгаковых, и там, как нарочно, собрались в настоящее время все патриархи их фамилии, из которых самой молодой было пятьдесят пять лет, именно матери. Затем следовали две тетки — обе старше ее, потом дядя — шестидесятилетний холостяк, и наконец бабка, Марья Михайловна, родоначальница трех поколений Булгаковых, считавшая от рода восемьдесят восемь лет.

— Да и то еще, — уверял, смеясь, Николай, — она утаивает два года из «кокетства».

— Да как же ты смеешь так непочтительно говорить! — и Зинаида погрозила ему пальцем. — Вот погоди: я завтра скажу маме!

— А, пожалуй, говори сколько хочешь! Там на меня уж давно махнули рукой. Мяли, да отстали!

— Ни-г-и-л-и-с-т! — протянула тетя Катя.

— Нигилист, коммунист, социалист, анархист, да кстати уж и евангелист: вали все на «ист».

— Нечего, нечего финтить! Знаем мы: с нами-то ты храбро воюешь. Куда нам с тобой тягаться, мы ведь ничего не знаем, ничему не учились! А ты вот поговори-ка с ним, так он тебе и отпоет, как следует!

Она указала пальцем на молодого человека.

— Да познакомьтесь же!.. Это мой племянник,

Федя Винк, кандидат Новороссийского университета, а это — шалопаи из Технологического института, — сказал Соломин, рекомендуя друг другу молодых людей.

— Был да сплыл! — ответил Булгаков. — Нынче уж вернее будет сказать — из Медицинской академии, хоть это и не верно. — Будем знакомы! — обратился он к долговязому блондину, протягивая руку через стол.

— Очень приятно. Так вы медик?..

— Такой же, как вы сапожник!.. Говорю же вам, что нет! А был и в Медицинской, то есть вернее у Грубера, и в Технологическом институте, и в Горном, словом везде, где угодно... Моя профессия не зависит от названий учебных заведений, которые я проходил...

— Одним словом, он проходил мимо всех учебных заведений! — подшутил Соломин.

— Для исторической верности уж следовало бы сказать: заходил во все, а не проходил, — поправил его Булгаков. — А почему наша «Птичка» величает вас классиком? — потому ли только, что учились вы в классической гимназии, или вы и всурьез?..

— Да, я настоящий классик, по убеждениям, то есть признаю воспитательное значение не в простом только процессе изучения языков, но в целом классическом миросозерцании, их поэзии, пластике... и, признаюсь, настоящее направление грубого материализма считаю в высшей степени односторонним, вредным увлечением...

— Вот как: знай наших!

— Вы, конечно, стоите совершенно на дру-

гом полюсе, ищите во всем «полезности вещей», отрицаете искусство для искусства и даже, по всей вероятности, вовсе не признаете красоты?

— Гм... как вам сказать: перед голой статуей на колени не становлюсь, конечно и не молюсь на нее.

— Но в чем же ваша профессия? Вы так и не поведали нам, — перебил его белобрысый Винк, очевидно желая дать другой оборот разговору.

— В разрушении основ! — торжественным тоном, отчеканивая каждое слово, насмешливо провозгласил Булгаков.

— Ну, вот, так и знал... Я не только враг революции, но и весь ваш «социализм» целиком отрицаю!

— Bravo! люблю за храбрость! Это однако не мешает социализму существовать и даже процветать: «пролетариат организуется во всей Европе!...» Это факт, а фактов отрицать нельзя, — иначе они будут отрицать нас!

— Что же из того: в одиннадцатом веке и крестовые походы существовали «фактически», однакоже это было не более, как «болезнь века».

— Выходит, значит, что вы отрицаете только существование в себе симпатии к социальному движению. Как факт вы его не отрицаете. Ну, против этого спорить не могу.

— Я отрицаю его «историческое значение» и утверждаю, что это такая же болезненная эпидемия нашего времени, как и походы в Палестину.

— Не из таких ли фактов и складывается история? И если вы будете выбрасывать из нее крупные массовые движения, то в «истории» останутся только одни «короли»! Однако, я не любитель подобных словесных турниров ради упражнения ума. Дело коротко: я за разрушение, — вы за «status quo». Соглашения быть не может, стало быть и разговаривать тут более не о чем, и наши дороги врозь, — закончил Булгаков, поднимаясь из-за стола.

— К тому же пора и честь знать, надо хозьевам покой дать! — прибавил он, заметив, как Зинаида украдкой зевнула в руку.

— Но зачем же тебе шлаться по такой погоде? — сказала та. — Да и ночь глухая, все порядочные люди давно спят. Оставайся лучше ночевать. Вот с Винком и ляжете в кабинет, там и окончите войну классицизма с реализмом.

— Без четырех минут два часа, — с педантической точностью произнес Иван Егорович, взглянув на свой карманный полухронометр.

— Нет, уж лучше уйти! Дождь перестал, а что поздно — не беда! Авось найду кого-нибудь бодрствующим. Ведь жизнь идет колесом: когда одни ложатся, другие уже встают на работу.

— Прощай, Schwester! Обними и перекрести! — сказал он, подходя к сестре.

— Так пойдем, я тебя выпущу за калитку, — сказал Иван Егорович. — Кстати нужно тебе сказать два слова... Да, как ты попал к нам, мы что-то не слышали звонка?

— А я прямым путем, перелез. Не хотелось тревожить прислугу: и мне гимнастика, и людям покойнее...

— Это ты напрасно! — сказала Зинаида. — Ворам дорогу показываешь. А у нас ночной сторож всегда не спит, так что можешь без всякого стеснения звонить в какой угодно час ночи...

— Ну, полагать надо, что не ворам у меня надобно учиться, а наоборот, по той простой причине, что этот способ стал известен им гораздо ранее меня, а яйца курицу не учат. Так, кажется, твердит нам достопочтенный дядюшка Крылов? — обратился он к сестре.

— Ну, хорошо, хорошо, с тобой не сговорить! Только не лавай больше, а то еще собаки ищутся. И как они тебя не тронули: ведь «Серко» кажется уже спущен с цепи?

Булгаков засмеялся.

— Слово такое знаю! Как только скажу его — все собаки разбегутся! Ай, Маша, спасибо: совсем благонамеренным человеком стал! — обратился он к Маше, принимая от нее свое пальто и «бандитку», которые она успела отчистить от грязи и просушить.

— Adieu, — произнес он уже за дверью.

Соломин последовал за ним.

— Я вот о чем хотел поговорить, — начал он, шагая через двор к воротам. — Видишь ли: мне нужен на обсерватории помощник для занятий, а то при наблюдениях одному трудно справляться (мне уж Зина помогает даже смотреть в телескоп), ну, и, конечно, надо, чтобы он мог делать самостоятельные вычисления. Так

не согласишься ли ты занять эту должность? Я думал было предложить Винку, да он оказался слаб в математике.

— Ну-с, а гонорару сколько даете?

— Да что же тебе дать: жить будешь в моем кабинете, значит, квартиру, отопление и освещение имеешь; ну, обедать и чаевать, конечно, вместе будем; белье тоже выстирают... это уж дело Зины... Чего же тебе еще? Зачем тебе деньги? Ну, дадим, положим, на табак рублей пятьдесят в месяц — и довольно с тебя...

— Третий сорт, стало быть, по-боку! Можно будет покурить «дюбек высший» султанский! «Се дило треба розжуваты».

— Да чего жевать-то? Ведь все равно шагаешься без дела! А уроками тоже больше не зашибешь, да и времени-то уйдет на них больше: у меня работы много-много часа на чetyре в сутки.

— Так-то оно так! И деньги порядочные, да неудобно мне связывать себя постоянным местом, потому что сам еще живу на перепутьи: сегодня не знаю, куда поеду завтра: в Питер ли, на Кавказ ли, либо, наконец, в Ташкент уйду... Ну, и выходит дело не к месту!.. Словом, я дам вам окончательный ответ дня через три-четыре...

— Как знаешь... я буду ждать.

— А что если я вам вместо себя поставлю кого-нибудь из товарищей? Как скажете?

— Пожалуй, если с достаточной подготовкой по математике... и по твоей рекомендации... Но с тобою нам удобнее: ты свой человек в доме...

— Это-то я все сам понимаю, спросил на крайний случай... Ну, подумаем, а «пока що» — до свиданья!

Он пожал руку хозяина и, шагнув за калитку, скрылся в темноте парка.

Хотя от здания обсерватории до первых домов города более полуверсты, но нашему герою пришлось совершить довольно длинный переход, почти через весь город на противоположный его конец, где начиналась так называемая «Андалузия», т. е. слободка с ее низенькими, крытыми соломой, в три окна домиками, с широкими, сплошной грязью текущими улицами, с узенькими, местами прогнившими, досчатыми мостиками, тянувшимися вдоль глухих заборов. Высокие сапоги Булгакова оказывали здесь ему свои услуги, потому что ноги его беспрестанно уходили по колена в вязкую, глинистую грязь.

Ночь уже дрогнула, и восточная часть неба заметно побледнела, когда Булгаков, свернувши в один из бесчисленных переулков этой окраины города, подходил к одиноко возвышавшемуся среди низких хаток мрачному двухэтажному дому с забитыми наглухо окнами и облупившейся по углам и на карнизах штукатуркою. За ним тянулась длинная из нештучного камня стена, сухой кладки, которая отделяла от улицы огромный, весь заросший лопухами и бурьянами, двор. В одном месте стена эта полуразрушилась, так что представляла удобный «перелаз», которым наш герой не замедлил воспользоваться, и прямо направился в задний угол двора, где из единственного окна небольшой каменной сторожки блестела узкая полоса

света, вырывавшаяся через неплотно притворенную ставню.

Осторожно подойдя к окну, он увидел через эту щель довольно просторную, но почти пустую комнату с грязным, очевидно незнакомым с метлою полом. Сор, покрывавший его толстым слоем, преизобиловал, главным образом, окурками и яичной скорлупой. Прямо против окна, за простым кухонным столом сидел молодой человек лет двадцати четырех. На нем было сильно поношенное, с засаленным воротничком, синее пальто, надетое в рукава прямо поверх красной косоворотки.

Низко нагнувшись над большим газетным листом, он пробегал глазами свежие, еще не высохшие строки печати, и рука его, вооруженная длинным пером, быстро бегала по полям, отмечая корректурные знаки. Над высоким лбом вздымалась целая грива всклоченных волос, которые ниспадали сзади до самых плеч. Бледное, обрамленное небольшой темнорусою бородкою лицо, со впалыми щеками, выражало сильное утомление и физическую слабость. И только лихорадочный блеск глубоко запавших в свои орбиты глаз изобличал ту особенную напряженность нервной деятельности, которая иногда встречается в слабых, болезненных организмах, вопреки ходячему гигиеническому положению: «здоровый дух в здоровом теле». Грязный деревянный стол, залитый чернильными пятнами, почти весь был завален книгами в самом хаотическом беспорядке. Среди разбросанных рукописей и корректурных листков возвышалась кучка табаку, а рядом несколько кусков сахара

и между ними окурок потухшей папиросы, и тут же валялась, бог весть зачем попавшая на стол, сапожная щетка. Между грудями книг торчал помятый жестяной чайник без ручки, щербатая кружка с недопитым чаем, обеды колбасы, шелковый галстух и оловянная пуговица. А саленная свеча, с нагоревшей светильней и густым наплывом с одного боку, обходилась без подсвечника и удерживалась в вертикальном положении при помощи гвоздя, воткнутого в стол острием вверх. По всему было очевидно, что стол составлял здесь не только главное, но и единственное средоточие всей хозяйственной жизни. Действительно, кроме него в комнате находилась еще одна мебель — это старомодный диван с высокою и неуклюжею спинкою и облупившеюся клеенкою, из дыр которой нескромно торчали клочья мочалы. Брошенное на него старенькое байковое одеяло и засаленная подушка, в ситцевой цветной наволочке, свидетельствовали, что диван этот служил хозяину и вместо кровати.

Булгаков обошел вокруг сторожки и сделал три легких удара в дверь.

— Войдите... не заперто! — послышался слабый, но приятный баритон.

Булгаков вошел.

— Булгаков! Наконец-то пожаловали! Ну, лобызнемся, что ли? — И молодые люди обнялись.

На одно мгновение в глазах гостя отразилась непривычная нежность, но сейчас же затем лицо его приняло прежнее, веселое, слегка насмешливое, хотя и добродушное выражение.



Ф. Н. ЮРКОВСКИЙ
1874 г.

— Здравствуйте, граф! — произнес Булгаков, крепко сжимая слабую руку хозяина.

— Здравствуйте, здравствуйте! Давно пора, а то совсем забыли нас. Только вот что: новостей-то у вас, конечно, с три короба, а из редакции того и гляди явятся за корректурой. Так вы садитесь там на диване, а я через четверть часа кончу. Вот табак... курите... а если хотите есть — там на полу, в углу, яйца... а хлеб под подушкой... это я от крыс туда прячу... Давно ли из Питера?

— Вчера, то есть вчера приехал, а из Питера, выходит, значит, шестой день пошел, если настоящую минуту считать за день... Сутки потерял в Москве, да в Киеве тоже... Везде аресты, а в Киеве, батенька, настоящее опустошение. Ни единственного адреса не уцелело. Вы, пожалуйста, пожгите все как есть.

— Как? И Зотов погиб?

— Сидит, и вся семья разслана в «не столь отдаленные»...

— А Неплюев?

— Поехал верстовать сибирский тракт. И Арсеньев и Семеренько тоже... Да, говорю вам: настоящее пленение вавилонское!

— Плохо, плохо... Ну, сидите и молчите! Я через четверть часа кончу. И он снова уткнулся в газету. И снова перо его быстро забегало по полям. А Булгаков захватил щепотку табаку и, усевшись на диван, принялся вертеть папиросу. Теперь только он заметил большую крысу, прикованную к ножке дивана тоненькой медной цепочкой, очевидно снятой где-нибудь со стенных часов.

Поднявши вверх мордочку, без всяких признаков страха, она вопросительно смотрела на гостя, как бы выжидая, с чего он начнет свое знакомство.

Булгаков полез под подушку, отщипнул кусочек хлеба и поднес его крысе. Животное грациозно село на задние лапки и принялось проворно грызть корку, держа ее между двумя передними лапками.

— Готово! — произнес тот, кого мы вместе с Булгаковым будем называть графом.

Он погасил свечу, открыл окно и с наслаждением втянул впалой грудью свежий утренний воздух.

— Теперь говорите! и прежде всего: го-стинца привезли?

— Точно так, ваше сиятельство!

— Сколько?

— Полтора пуда.

— Маловато.

— Что же делать, больше нельзя было достать. И то по горсточкам натаскали из разных типографий.

— Впрочем, как-нибудь обойдемся! Ведь нам не книги печатать. Ну, а все остальное?

— Да чего еще вам надо?

— Как чего? — загорячился граф. — А наборная касса, доска и валик? А прокатный вал? А...

— Все здесь! — произнес Булгаков, знаменательно поднося палец ко лбу.

— А пресс? — продолжал высчитывать собеседник.

— Здесь! — Булгаков показал у себя на то

место, которое служит обыкновенно у людей для сиденья.

— Вот и выходит, что ровно ничего нет.

— Успокойтесь, все будет! Вал возьму у тетушки от стиральной машины. Отличный выйдет! Вместо доски, — завтра же отправимся на базар, — купим самое что ни на есть простое зеркало в деревянной оправе, лишь бы потолще, и будет «первый сорт». Да вы не извольте беспокоиться: всю технику я беру на себя! Вы только знай пишите: удивляйте мир своими произведениями, а уж я так отпечатаю, что разлюли малина! И публика поистине диву дастся, когда увидит нашу работу, да еще разнокалиберным шрифтом!

— Вам все бы только шутить, — недовольно заметил граф. — А книжки привезли?

— Целый сундучище! Вес — брутто: шесть пудов десять фунтов.

Он вытащил из жилетного кармана квитанцию.

— Лежит еще на вокзале... Это уж вы найдете какого-нибудь человека, чтобы съездил получить, а то мне лень, — сказал Булгаков, зевая и потягиваясь.

— Да, надоел-таки он мне... — прибавил он. — От Питера вожусь... В Москве перекладка... В Киеве опять...

— Вот вы, Булгаков, во всем так: все как-то делаете в полоборот, как будто нехотя.

— Станный вы человек, граф. Я вам шрифт добыл, книг привез, вместо данных мне трехсот рублей на целых пятьсот; печатание прокламаций беру на себя, кажется, все как сле-

дует. Нет! — вы требуете, чтобы я вложил всю свою душу в какие-нибудь шесть пудов заграничной бумаги, испачканной типографской краской!

— Ну, да! все пустяки! все не важно! Что же, по-вашему, важно-то?

— Вот что!

Булгаков, распахнув полы пиджака, указал на кобур с револьвером и торчащую за широким поясом рукоять кинжала.

— Вы, кажется, полагаете, что нам завтра на баррикады выходить, — иронически ответил граф.

— Баррикады строить не придется. А вот завтра явится к вам бутарь, возьмет вас за шиворот, да и потащит как барана в кутузку, а со мной он этого не сделает.

— Но ведь это значит кусать палку!

— В том-то и дело, что собака и та кусает палку, которая ее бьет, а мы, разумные люди, покорно подставляем шею под удары, тогда как иногда очень полезно и палку изломать! Все же хозяину škoda, — надо другую доставать!

— Хорошо! Ну, а после что? Назавтра к вам явятся десять жандармов, окружают весь дом и кончится тем, что вы все-таки очутитесь в той же кутузке?

— Да, но это уж будет не одно и то же.

У окна показался седой, но еще бодрый старик с солдатской выправкой.

— Здравия желаю, Константин Павлович!

— Здорово, Дементьич, что скажешь?

— Пожалуйста каликтуру, а вот вашей мило-

сти свеженькая, — ответил старик, выкладывая на окно несколько свежотпечатанных столбцов газеты.

— Ночная-то готова, — сказал граф, подавая ему в обмен свой лист. — А следующую я сам занесу часика через три... Что же, папироску хочешь?

— Пожалуйста!

— Михаил Григорьевич в типографии?

— Точно так, сейчас приехали из ледакции. Там в типографии такая свара идет — беда!

Он снял картуз и отер грязным рукавом потный лоб.

— Старший наборщик загулял на праздниках, — продолжал он, — и без него никак не могут собрать набор. Уж два раза бегали на дом, лежит как колода... Водой отливали, — не помогает... Благодарю покорно! — сказал он, принимая из рук графа закуренную папироску.

— А Федор, литографщик?

— Тот работает.

— Так вот что, Дементьич, отнеси ему, пожалуйста, эту записку, да только отдай самому в руки, другому никому не давай.

— Слушаюсь! Зачем другому отдавать, разве я не понимаю, кому велено.

— Ну, так с богом! Чай давно ждут корректуру...

— Счастливо оставаться.

— Однако, он у вас в субординации, — заметил Булгаков, когда рассыльный мелкой иноходью, раскачивая плечами, отошел от окна.

— Усердный служака и любит меня. Только

против начальства не пойдет! — усмехнулся граф.

— Теперь вы рассказывайте, что тут делается, — тихо сказал Булгаков. — Завели ли связи со штундистами и каковы они вам показались?

— Как же! С ними-то главным образом я и вожусь. Они ценят в нас интеллигентную силу! Я у них в роде ходока по делам: пишу прошения, учу, куда обращаться по разным тяжбам. Обижает их, извольте видеть, православное население, науськиваемое попами. Борьба идет ожесточенная. Народ смысленный, и критическое мышление работает не только над религиозными верованиями, но захватывает и коренные вопросы общественной жизни. Да вот сами скоро увидите. Они ко мне сюда часто приходят. Только уж вы, пожалуйста, будьте посolidнее, не смейтесь много, а то сразу потеряете весь «ришпект». Они очень степенные люди и смотрят на жизнь не то чтобы сурово, а с ригористическим оттенком.

— Слушаюсь! буду задумчив и угрюм. Валийте дальше, кто и что еще, кроме штундистов?

— Есть гимназический кружок: уже довольно хорошо организован. Недавно стали проникать с «книжками» и в женский пансион. Затем есть и рабочие, и, наконец, два базарных жулика, из коих один подает надежды, кажется, хороший парень. Ну, а другой, того и гляди, что последние сапоги ста цит.

— Ну, а в высших слоях?

— Тут я пас, не моей части... И единственная

связь имеется через фельдшерицу (Верочку). Она говорит, что много сочувствующих между флотскими... Кое-кому носит книжки. Доставляет иногда уроки нашим гимназистикам. Этим пока все и ограничивается. Да, впрочем, еще несколько народных учителей по окрестным селам. Они помогают вести более тесные сношения с штундистами, которые, повторяю, составляют здесь мой главный операционный базис. В базарные дни они съезжаются в город в большом количестве из разных деревень. Я устроил специально для них нечто в роде чайного трактира, или постоянного двора, где они ставят свои возы и кормят волов, но чтобы пользоваться между ними влиянием, нужно иметь богословский навык, они, батенька, вас загоняют евангельскими текстами... Наизусть, бестии, знают, от какого апостола, на какой странице, какой стих...

Ну, меня не мудрено загонять: я евангелие от библии не отличу!

— То-то и оно! Вот на этот-то конец я и стягиваю бурсачков из разных семинарий. Один уже недавно прибыл, другого жду на-днях.

— Ну, а финансистика как?

— В раестроистве, в самом что ни на есть скверном виде... Вы уж поналягте на своих родичей.

— От них многого не жду, а кое-что перепадает, конечно.

— Вот и теперь выворачивайте-ка все, что есть в карманах, а то мне к полудню надо дозареза восемнадцать рублей.

— Кажется наберется рублей на двадцать —

получайте! — сказал Булгаков, выбрасывая на стол несколько кредиток и еще в придачу квинтантию на книжки. — Вы уж пошлите какого-нибудь гимназистика, развяжите меня с этим богатством! Да и квартир-то ваших еще не знаю... Куда бы я с ним делся? Кстати, снабдите меня хоть одним адресом.

— Да вы приходите на «толкучку», там и познакомитесь со всеми: на Ливаде, Второй Слободской переулочек, спросить кузнеца-штундиста. Впрочем, там сами увидите: четвертая хата от площади, перед дверью станок дляковки лошадей. У кузнеца и спросите: господин, где, мол, у вас жильцы тут? — это уж свой человек.

— Добре, найду... Теперь слушайте, вот какое дело: на обсерватории нужен помощник — пятьдесят рублей в месяц, стол, квартира и все такое. Я отказался, потому что, как вы сами знаете, мне еще предстоит много разъездов, ну, а вы уже пустили здесь корни. Так что скажете на сей предмет?

— Эх, не люблю я этого буржуазного стиля. Уж очень там все на барскую ногу, — поморщился граф.

— Ну, вздор! Комната с отдельным ходом. Принимать можете кого угодно... А пятьдесят рублей на улице не валяются.

— Деньги-то хорошие, что и говорить... Да, право, мне туда идти, как на каторгу... Жаль оставить это насиженное местечко. Сюда уж привык ходить разный народ, и штундисты, и барыни, и гимназисты, никому нет дела, — кругом пустошь, никто не видит, никто не спро-

сит! А туда мы лучше посадим кого-нибудь другого.

— Нет уж это «ах оставьте». Там окончившего университет забраковали, по математике не вышел. Вы-то, я знаю... это можете! Дифференциалку тоже вместе когда-то зубрили, да если чего и не знаете, то живо приспособитесь. Человек вы усидчивый, к занятиям привычный, и голова у вас на своем месте. Ну, а других-то я рекомендовать не возьмусь.

— Надо подумать как-нибудь хорошенько. Не охота мне только, ей-богу, залезать туда.

— Да о чем тут думать? Вы только сообразите: пятьдесят рублей и все готовое. Ведь вот вы, сколько всего зарабатываете?

— Немного! За корректуру двадцать пять рублей, ну и живу здесь даром за то, что караулю этот пустой дом, в котором, впрочем, и украсть нечего, и еще получаю от того хозяина три сажени дров на зиму. Значит, считайте: тоже квартира с отоплением даровая, у того же купца имею два урока в неделю по рублю, что составляет восемь рублей, за корреспонденцию, когда случится... Ну уж это не регулярный доход, в счет не идет.

— Извольте видеть: по ночам работаете; живете в свинюшнике, питаетесь сухоядением, а то, пожалуй, и одним мокреньким чайком, и в конце концов тридцать три рубля. А там будете есть по-человечески, жить в чистоте, и пятьдесят рублей! Да времени сэкономите, значит, корреспонденциями зашибете лишнюю денюгу, — кажется есть расчет? Если эта квартира удобная для дела, так сюда можно любого

посадить вместо вас: ума не много надо, чтобы стеречь пустое место, а купчине все равно, изучал ли его сторож дифференциалы или нет.

— Нет, Булгаков, воля ваша, — решительно отмахнулся граф. — Я уж тут привык. Здесь мне вольготно, что хочу, то и делаю. Кто хочет — приходит, никому дела нет. Не пойду я к ним.

— Ну, и чорт с вами! И околевайте себе. Ведь я о вас же стараюсь! Поглядите на свою физиономию-то! Поди три дня до смерти осталось, ну, на что это похоже: ночи не спите, живете в грязи, как в хлеву, вон сору-то по колелу! Все это гниет. Тянете гнилыми легкими прогнивший воздух! Ну и умирайте! А теперь давайте спать, глядите — солнце уж давно встало. Приставляйте свой двуногий стул, как-нибудь примостимся оба. Меня-таки сон разбирает, — заметил гость, укладываясь на диван.

— Нет, мне уж не стоит ложиться, тут работа еще есть. Выплюсь как-нибудь после обеда у штундистов, а вы располагайтесь.

— Ну, как знаете, я сосну, а то, чорт возьми, всю ночь прощаясь без толку!

Булгаков зевнул и потянулся всем своим мускульным телом так, что диван под ним затрепал, а крыса в испуге выскочила из своего убежища, рванула цепью, обернулась, схватила ее по привычке зубами, но, тотчас выпустив из рта неподатливый металл, присмирела, покоряясь необходимости.

— Зачем вы мучаете этого зверька? — спросил Булгаков графа.

— Я ведь его только временно арестовал:

хочу знать, можно ли приручить. Скоро отпущу на волю и буду наблюдать, останется ли ручным или одичает. А довольно быстро привыкает; всего два месяца, и уже совсем не боится людей.

— Да, храбрый зверек!.. — ответил Булгаков, снова выпуская зевок, и решительно повернулся лицом к стене.

Хозяин взял свое перо и уткнулся в газету... Через несколько минут послышался легкий носовой звук, быстро перешедший в мерный богатырский храп.

«Эка силища у этого Булгакова! — думал граф, на минуту отрываясь от занятий, чтобы окинуть взглядом спящего гостя... — Да, завидное здоровье, не мне чета...»

Он снова нагнулся к столу, и долго-долго еще его перо неумоимо крестило печатные строки корректурного листа. Наконец, он нервным движением отбросил в сторону бумагу, заломил руки за голову и откинулся на спинку стула. Теперь на его бледном лице отражалась последняя степень утомления: усталые веки тяжело опустились, рот полуоткрылся, а руки бесильно свесились как плети.

Несколько минут он оставался в каком-то неподвижном состоянии, будто окоченел или замер. Но вдруг глаза его широко раскрылись, на бледных щеках вспыхнул злобный румянец... Из глубины груди что-то заклокотало, подступило к горлу, плечи судорожно затрепетали и вместе с кашлем на губах появилось алое пятно крови... еще и еще... Схватившись руками за грудь, он припал головою на угол стола, с уси-

лием отхаркивая кровавую мокроту... «Да, плохо... совсем расклеился... А тоже хочется что-нибудь сделать!.. Кажется, Булгаков прав, — думал он, когда кашель немного успокоился: — Не с моими силами... Вот он так может: «здоровый дух в здоровом теле»!.. Может, — да не делает... А почему не делает?..»

ГЛАВА II

ВОСЕМНАДЦАТОЕ СТОЛЕТИЕ ИЛИ
СЕМЕЙСТВО БУЛГАКОВЫХ

Солнце уже перевалило далеко за полдень, когда Булгаков проснулся. В комнате не было никого, только крыса лежала в ногах на его диване, положив мордочку между лапок, совершенно так, как это делают легавые собаки после усиленной охоты. Он погладил ее, бросил кусочек хлеба. На столе лежал лист бумаги, на котором синими буквами было начертано:

«Раньше вечера не вернусь, ключ положите у крыльца с левой стороны под большим камнем».

Он взял толстый карандаш и, обернув другим концом, подписал красными буквами:

«Завтра на толкучке».

Затем он обвел глазами комнату: кроме дивана, трехногого стула и стола, другой мебели не оказалось. В одном углу на полу лежало с десяток яиц. В другом валялись с до-нельзя искривленными задниками сапоги и рядом большая бельевая корзина, которую часто употребляют прачки для разности чистого белья. Корзина эта, очевидно, заменяла хозяину комод и вмещала весь его гардероб. Кроме чистого белья

и нескольких штук накрахмаленных рубашек, там виднелся черный сюртук и летние брюки.

Вывалив без церемонии все содержимое на диван, Булгаков, захватив пустую корзину, вышел из комнаты, запер двери и, положив ключ под камнем, выбрался на улицу.

Дойдя до первого переулкa, он с минуту постоял, как бы раздумывая, куда идти, и, остановив проезжавшего извозчика, велел ехать в дом Виртинга. Здесь все население стариков только что восстало от опочивания и готовилось пить чай. В столовой миловидная с плутовскими глазками девушка Даша сервировала большой круглый стол. В следующей комнате на широком кресле с высокой спинкой восседала Марья Михайловна — родоначальница трех поколений Булгаковых — очень тучная старуха с двойным подбородком. Она сидела у открытого окна с газетой в руках и с громадными старинными, в медной оправе, очками на красном мясистом носу. Ее первенец, дядя Булгакова, рослый старик с правильными чертами лица, шлепал туфлями по всем трем комнатам и пускал клубы дыма из черного черешневого мундштука. Обе тетки сидели над целой кучей столового белья и сортировали его, отмечая по углам то красной, то черной ниткой — это была новая затея младшей из них, Елены Игнатьевны, которая всю жизнь прослужила кастеляншей при дворе Михаила Николаевича на Кавказе и теперь, на старости лет, хотела жить также своим трудом, чтобы никого не обременять собою. Но до сих пор все как-то не клеилось, и из этих благод-

ных стремлений, при отсутствии умения взяться за дело, выходила только лишняя трата денег. Сначала она вздумала собственноручно мотать коровьи кишки на струны и, по выражению Булгакова, промотала полторы тысячи, выданные ей старшим братом, т. е. дядей Булгакова. Теперь при помощи того же дяди были выписаны стиральные машины, из которых одна уже не действовала, и ее валик составлял предмет тайных вождедений племянника — для устройства типографии. Благодаря обширным знакомствам, многие командиры военных судов присылали к ним все судовое, т. е. столовое белье. Дело только что началось, и обе тетки были в страшных хлопотах.

— Всему патриархату Булгаковского рода сто лет здравствовать и благоденствовать! — возгласил Булгаков, появляясь в комнате.

— А молодому поколению сто розог в..., чтобы не пропадало по целым суткам из дому, да не заставляло бы себя ждать с обедом, как сегодня, когда меня проморили целых полчаса по твоей милости, — ответил дядя, первый встречая в дверях племянника и целуясь с ним.

— Фи, фи, mon oncle, какие вы непотребства изрыгаете! — отвечал тот.

— Да чем же, братец, худо! Ведь по-вашему, что естественно, то и хорошо. А что же может быть естественнее, как выпороть шалопаю.

— Рутинa, дядюшка, рутинa, а слово сие скверное есть. Во-первых, потому именно, что указывает место уязвления розгами, а во-вторых, потому, что напоминает лицо ожиревшего бюрократа. Это уже вы, дядюшка, смекаете,

в чей огород... Здравствуйте, бабушка! Скажите-ка, когда покупали свои окуляры? при царе Горохе или Дидоне?... Mes tantes, бросьте ваше оружие, иначе я не приложусь к вашим ручкам, из опасения проколоть себе губы.

— Давай-ка сюда не губы, а свой язычок, мы его наколем как следует, чтоб страх знал! — отвечала Елена Игнатьевна.

— Что за скверную привычку, мамаша, имеют извозчики в ваших диких краях! До тех пор стоят у ворот, пока им не вышлют денег! — сказал Булгаков, подходя, наконец, к матери.

— Это, дружок, везде так. Сколько нужно? — сказала она, доставая из кармана замшевое портмоне.

— Я полагаю, что даже за два пятиалтынных он согласится уехать.

— Даша! На, отпусти извозчика!

— Ах, Коля, Коля! — обратилась к нему Марья Михайловна, опуская газету и вскидывая на лоб свои громадные очки, привязанные черной лентой вокруг головы. — Я вот все читаю здесь, какие это ужасные люди! Собственности не признают, на семейные узы посягают. Неужели и ты такой?

— Нет, бабушка, — засмеялся Булгаков, — мы только против начальства идем.

— Ну, и слава богу! — произнесла старуха, крестясь.

В ее глазах война с начальством получала вид только легкой шалости в виду таких ужасов, как посягательство на священные узы.

— Что вы, маменька, боже избави!.. Мой Коля не таков. — вступилась за сына мать Бул-

гакова. — Они там все только со своими профессорами ссорятся.

— Пожалуйте чай кушать, — возвестила Даша, появляясь на пороге и бросая кокетливый взгляд на молодого барина.

Все поднялись; только Марья Михайловна, сидя в кресле, принялась раскачиваться взад и вперед всем туловищем. По своей тучности и старости она не могла иначе встать на ноги, как предварительно раскатав корпус и вдруг перегнув его далеко вперед так, чтоб перемещением центра тяжести вывести себя из положения устойчивого равновесия. Булгаков встал перед нею подбоченясь.

— Что, бабушка, старость — не радость? — спросил он.

— Давай, давай руку, нечего зубы-то скалить на старуху!

Он протянул свой сжатый кулак, и когда она ухватила за него обеими руками, то, оставив одну ногу назад, сделал вид, будто тянет изо всех сил, произнося нараспев: «Дернем — подернем, раз, два!»

Даже дядя улыбнулся и только заметил, качнув головой:

— Эх, розог бы!

В столовой Булгаков, взяв принесенную корзинку и подняв высоко над головой, произнес:

— Милые мои, бабушка, тетеньки, дядюшка! Видите, что это такое?

— Видим очень хорошо: корзина, — ответила мать.

— И притом пустая, — добавил дядя.

— Совершенно справедливо. А знаете ли зачем я ее привез?

— Нет, еще не знаем: вот когда скажешь, так будем знать, — сказала тетка.

— Для того, чтобы вы наполнили ее всякими лакомыми яствами, а я снесу ее тем, у кого их нет... Ведь вы вчера посылали в острог, а мои фавориты хотя еще не сидят в остроге, но все же не имеют чем полакомиться в праздник.

— Это хорошо, что ты заботишься о товарищах. Ну, поставь пока корзину там, в темную кладовую — я после приготовлю сама, а теперь садись пить чай, — сказала мать, снимая с самовара чайник и аккуратно разливая чай по стаканам через серебряное ситочко.

— Где же ты обедал? У сестры? — спросил дядя.

— Я ел там, но это, кажется, был ужин.

— Как ужин?

— Вот видите ли! С тех пор, как я приехал, я все непрерывно хожу из дома в дом по разным родичам, и везде-то едят, едят и едят! Так что я совсем сбился с панталыку: где завтрак, где ужин. А главное, совсем утратил понятие о разделении времени — что вчера, что сегодня. Вот, например, в настоящую минуту я только что встал, и мне кажется, что как раз следует начинать чай, а вы спрашиваете о каком-то обеде.

— Вертопрах ты, братец, — сказал дядя. — Потому и в голове ветер ходит.

— Был ли ты, по крайней мере, у брата? — спросила мать, передавая ему второй стакан.

— Каюсь, маман, не был.

— Не хорошо, Коля, мне будет неприятно... Третий день как приехал, а ему не кажешься, как будто он тебе чужой.

— Да ведь его дражайшая, увидя мои демократические ботфорты на своем ковре, чего доброго разрешится прежде времени.

— Ну полно вздор городить. А ты вот не думай сбегать после чаю вечером — мы все отправимся к нему, — настаивала мать.

— Извольте, сегодня отдаюсь в ваше полное распоряжение: куда хотите, туда и ведите, — хоть к чорту на рога. Только, право, мои сапоги произведут там целую революцию.

— В самом деле, надо его прифрантить; там будут гости, — вмешался дядя, оглядывая племянника с ног до головы. — Времени еще довольно. Поезжай сейчас же в лавку и экипируйся, начиная с ботинок и кончая черным сюртуком. Вот тебе и ресурсы. — Он перебрисил через стол две новеньких двадцатипятирублевки.

— Сделаю и это, но с тем, что костюм останется у вас, в виде домашней принадлежности. И я буду облачаться в него, лишь когда нахожусь в вашем обществе; так, лично мне, в моей сфере он не нужен.

— Вместо того, чтоб терять даром время, поезжай-ка лучше, а то опять заставишь всех нас ждать. Да не накупай дряни: лучше заплати дорожке, чтоб вещи были порядочные; нечего денег жалеть, меня не разорит.

— Все будет первый сорт. Что их жалеть, ведь эти денежки не трудовые; как пришли, так и уйдут, — двусмысленно заметил Булгаков, отыскивая свою «бандитку».

Дядя поморщился и ничего не сказал, зная, что при малейшей резкости с его стороны он рискует получить деньги обратно с более определенным намеком на счет безгрешности его доходов. Он заведывал в таможне главными наклаузами и очень не любил, когда племянник пулся в исследование происхождения слова «таможня», производя его от «там можно».

Когда старики Булгаковы вместе с одетым теперь с иголочки «молодцом», как называл его дядя, явились в дом Андрея Булгакова, они застали там уже по обыкновению большое общество. Андрей Булгаков, старший брат Николая, был видным земским деятелем и принадлежал к числу тех либеральных дельцов, которые не только ворочают в земстве, но и заправляют провинциальным общественным мнением. Он жил очень открыто, на широкую ногу, как водится, выше своих средств и всегда нуждался в деньгах. Зато дом его, действительно, служил горнилом, где вырабатывали и предрешили все вопросы общественной городской жизни, и отсюда приговоры уже в готовой форме разносились и в думу, и в земство. Дом его походил на какой-то частный клуб, где с утра до вечера толпилась самая разнообразная публика: земцы, военные, учителя гимназий, дамы всех рангов, начиная с графини Левашовой, жены командующего местными войсками, до жены какого-нибудь прапора. Все теснилось в его столовой, где обеды и ужины редко накрывались иначе, как на два стола.

Жена его, Полина Егоровна, женщина очень недалекого ума, с трудом могла поддерживать в обществе выпавшую на ее долю роль. С маленькой, очень красивой головкой, насаженной на громадное, безобразно разжиревшее туловище, она представляла собою странную смесь красоты и уродливости: тучность ее была так непомерна, что однажды, неосторожно оступившись, она переломила себе ногу — кость не выдержала веса. Зато она была домовитой, расчетливой, даже несколько скуповатой хозяйкой и плодовой женой. В настоящее время она ходила при последних днях, «на сносях», как выражался Булгаков, и это еще более увеличивало ее объем. Но благодаря принятой предосторожности насчет сапогов, встреча произошла без ускорения родов, хотя Булгаков все-таки привел ее в смущение и заставил покраснеть первую же приветственную фразу.

— А вы, Полина Егоровна, все такая же бельфамистая, попрежнему цветете и расширяетесь, — начал было он, но тут же почувствовал шипок в локоть от своего дядюшки, который поспешил на выручку сконфуженной хозяйке. Покончивши с своей *belle soeur*, Булгаков продолжал здороваться с остальными.

— А вы что за человек? — обратился он, останавливаясь, наконец, против раздушенного, щеголевато одетого молодого человека, с умными выразительными глазами, вежливо ответившего ему поклоном.

— Студент Технологического института, если вам угодно.

Незнакомец снова поклонился.

— Стало быть, коллега, — вот не ожидал! Учимся в одном храме, а впервые пришлось увидаться за две тысячи верст в доме моего почтенного брата. Ну, значит, вы здесь такая же неуместная птица, как и я — ни к селу, ни к городу — и прекрасно: вдвоем чувствуешь себя все же смелее, а то видите, как все на нас уставились, словно на чудища заморские. — Он обвел глазами окружавших, которые действительно с любопытством смотрели на эту странную встречу двух студентов, а студенты в городе были новинка, которою все и без того интересовались.

— Мне очень приятно познакомиться с вами. Если не ошибаюсь, вы — Николай Булгаков. Слышал о вас в институте. Но мне кажется, что вы сами отчасти подаете повод ко всеобщему вниманию своими несколько оригинальными приемами.

— То есть, которые кажутся оригинальными, только потому, что здесь изгнано все естественное, — ответил Булгаков. — Однако же вы все-таки умнее, чем кажется, господин студент.

Молодой человек улыбнулся чуть заметно одними глазами.

— Надеюсь при дальнейшем знакомстве утвердить вас в этой догадке. Моя фамилия Кастрюлин. Имею особые причины не сойтись с вами, — добавил он уже совсем тихо, так что присутствующие не разобрали.

— Коля, вот Платон Андреевич Григораш, сослуживец и друг твоего отца, — сказала мать, указывая на пожилого человека с гладко вы-

бритым подбородком и длинными седыми усами, опущенными по-казацки.

Булгаков молча поклонился.

— А вот моя доченька Ната, — заговорил тот низким баритоном. Мы были с твоим отцом приятели. Ну, так мне хотелось, чтоб и вы, дети, подружились и чтобы ты не считал мой дом чужим, а приходил обедать и ужинать, когда вздумаешь, без церемонии.

Булгаков перевел глаза на проходившую худенькую девушку, совсем еще с детским личиком. Она присела, как институтка, и покраснела до корней волос, но потом, видимо, преодолевая робость, крепко пожала ему руку по-товарищески. Это понравилось Булгакову, и он ласково посмотрел в ее смущенное личико.

«Не красивая, а симпатичная, — подумал он. — Глаза добрые и смотрят пытливо. Видно, жизнь хотят узнать, да не много только увидят хорошего».

— Слышите, что говорит ваш рара, — произнес он вслух, не выпуская ее руку. Я буду рассчитывать приобрести ваше расположение, если не своими заслугами, то хотя в силу приказания старших.

Девушка еще более смутилась, и ее слегка сдвинувшиеся брови показывали, что головка ее усиленно собирает мысли, чтобы подыскать ответ. Она стояла в нескольких шагах от растворенного окна, спиной к нему, Булгаков прямо против нее, а Платон Андреевич, подавшись немного назад и заложив руки за спину, облокотился на зеркальный столик перед боль-

шим трюмо, висевшим в простенке, и с интересом прислушивался к их разговору.

— О, я-то привыкла повиноваться старшим, но вы, кажется, властей не признаете.

Из прихожей раздался не звонок, а какой-то сильный отрывистый трезвон, затем сейчас же было слышно, как оборвавшийся колокольчик с грохотом покатился по полу, а в дверь послышались частые, хотя и слабые удары. Ближайшая публика бросилась отворить парадную дверь. У соседнего окна, с побледневшим лицом, закричала Зинаида.

— Спасите, спасите Степана! Он под колами там. Лошадь зацепилась за тумбу! Да бегите же, бегите скорее!.. здесь недолго! — бессвязно произнесла она, в изнеможении опускаясь на диван.

Ната не могла себе дать отчет в том, что произошло перед нею в последующие минуты: вначале она почувствовала свое правое плечо словно зажатым в тисках. В то же время она каким-то сильным толчком была отброшена в сторону, а у самого ее носа мелькнули каблуки Булгакова, и вся его коренастая фигура исчезла в темноте окна. Ната только слабо вскрикнула и невольно протянула руки к окну, как бы желая что-то удержать.

Внизу между тем слышались какая-то глухая возня, топот копыт, лошадиное фыркание и слабые стоны. Пролетев благополучно полтора этажа и очутившись на улице, Булгаков успел перехватить под уздцы лошадь, волочившую легкие дрожки по тротуару, беспрестанно цепляясь колесами за тумбы. Кучер, запутавшийся в вож-

жах, слабо стонал, лежа между передними колесами и задними ногами лошади. В одно мгновение закрутив удила под нижней челюстью лошади, Булгаков сначала не знал, что предпринять: нельзя было ни осаживать назад, ни протянуть вперед, чтобы не переехать несчастного кучера колесами. Между тем испуганный конь, танцуя на месте, ежеминутно угрожал наступить на него копытами. В это же время он заметил, что и с другой стороны около лошади возится кто-то.

— Жмите ухо, Булгаков, вы сильнее меня! — внятно произнес сдержанным, совершенно спокойным голосом Кастрюлин.

Булгакову удалось овладеть ухом лошади, и, свернув его вдвое, он зажал его из всей силы. Лошадь опустила голову и замерла от мучительной боли, не делая ни малейшего движения.

— Вытаскивайте его поскорее, — в свою очередь проговорил Булгаков.

Тут подоспело несколько офицеров; они смогли отпугать вожжи и высвободили из-под колес сидевшего Степана, которого пришлось положить в дрожки, так как он не мог держаться на ногах. Булгаков, держа лошадь под уздцы, осторожно ввел ее во двор. Доктор оказался между постояльцами дома и после непродолжительного осмотра вынес успокоительное решение: ушибы хотя и сильны, насколько можно заключить по подметкам и синевам, но переломов нет, а о внутренних повреждениях судить трудно, потому что человек мертвецки пьян. Вообще он надеется, что большой опасности нет.

Мало-по-малу в гостиной все приняло обычный порядок: почтенные отцы расселись за карточными столами, молодежь сбилась в кружки. Зинаида Александровна успела уже в десятый раз рассказать, как пьяный Степан — она все видела из окна — наехал на тумбу, полетел с козел и запутался в вожжах. Ведь сколько раз Иван Егорович говорил ему, чтобы не надевал вожжей за спину. Так нет, все по-своему! Лошадь, испугавшись чего-то, подхватила, но на углу зацепилась колесами за фонарный столб и добежала досюда.

— Ну, и так далее, остальное знаем, — сказал Григораш.

— А где же мой брудер, — громко произнес Булгаков, обращаясь к своей *belle soeur*. — Что-то я его не вижу до сих пор?

— Он у себя в кабинете занимается делами, теперь уже скоро выйдет.

— Кабинет здесь? — спросил Булгаков, направляясь к запертой двери.

— Он занят! — с ударением повторила Полина Егоровна, желая дать понять, что мужа нельзя беспокоить в его серьезных занятиях.

Булгаков только нетерпеливо передернул плечами, отворяя дверь.

— А! Николай... здравствуй! — приветствовал его хозяин, поднимаясь с кресла качалки, на котором он помещался перед большим письменным столом, и делая два шага навстречу брату по мягкой тигровой шкуре, разостланной в ногах. Они обнялись.

— Ну, садись!

— Деньги есть? — приступил прямо Нико-

лай, вспоминая фразу графа: «налегайте на родных».

— А тебе очень нужны?

— Нужны, братец, и очень, жестоко и экстренно! Чем больше, тем лучше и еще что-то. Ну, словом, нужны, нужны и нужны, и еще немножко нужны.

— Сколько же?

— Да чего торговаться-то, — выворачивай все, что есть. Ведь наверно не много в кармане, а ящики и вовсе пусты... Даром, что большая конторка.

— Нет, ты все же скажи, я где-нибудь после достану, а теперь вот тут немного есть.

Он вынул из бокового кармана небольшую пачку, потом полез в другой карман и вынул из портмоне еще несколько мелких кредиток, выкладывая все это на стол перед братом, который принялся пересчитывать их.

— Постой, тут, кажется, еще где-то были. — И он вытащил из жилета еще две новеньких рублевых бумажки.

— Тридцать восемь, — сказал Николай. — Доставай еще двенадцать до полусотни, и будет с тебя.

— Ну, брат, больше нет. Впрочем, подожди, вот выйдем в зал, я у кого-нибудь перехвачу. А теперь нам нужно переговорить об имении. Ты знаешь, Чиботинский участок продан, это мы без тебя порешили, нельзя было... деньги нужны... ты понимаешь? На твою долю полторы тысячи... Хочешь? — Он поднес Николаю серебряный портсигар, из которого тот вынул сигару, и стал скусывать кончик. — Эти

твои полторы тысячи, — продолжал он, — лежали сначала на хранении у меня, а там подвернулись срочные платежи, в банк земский надо было внести. Ну, и пришлось их пустить в оборот. Тебе ведь разом они не понадобятся, а их тебе по частям выплачу.

— Да ведь я уже сказал своей матери, что не требую своей части. Я этого имения не наживал и своим не считаю. Ты их спустил, ну и баста! У меня ни жены, ни детей нет, и все «мое» на мне...

— Все-таки надо же тебе жить чем-нибудь. Я их отдам, вот немного поправлюсь обстоятельствами.

— Никогда твои обстоятельства не поправятся и никогда ты их мне не отдашь по той простой причине, что ты всем должен и никому не отдаешь. Нечего даром и толковать, благо я отказался. А вот я когда-нибудь еще приеду раз-другой без копейки и опять прихвачу у тебя рублей пятьдесят, тем и сочтемся. Это что же за игрушка?

Булгаков взял со стола маленький карманный револьвер с изящной костяной рукояткой.

— Американской системы, — отвечал брат, — с сильным боем. Даром что пулька не более горошины, а на пятнадцать шагов пробивает еловую доску.

— Все же дело ненадежное. Моя цапка будет посolidнее. — Булгаков откинул полу сюртука. — Видишь, смитовский, старого разбора. Здесь, брат, калибр патрона немногим уступит кавалерийской берданке.

— Но это неудобно носить — оттягивает.

— Как привыкнешь, не чувствуешь, — возразил Булгаков, опуская себе в карман и маленький револьвер брата.

— Ты, кажется, ошибся: это мой! — сказал, улыбаясь, Андрей.

— То есть он был твой, пока не попал ко мне в карман, а теперь будет мой.

— Да ведь у тебя есть большой, зачем еще?

— А ты знаешь, цыгану дай сколько хочешь лошадей, он все-таки украдет еще одну. Ну и я тоже не могу видеть никакого оружия, чтобы не положить его в свой карман. Такого уже свойство моей натуры.

Тут в кабинет вошел Григораш с часами в руках.

— Андрей, ты сегодня из рук вон как неаккуратен. Посмотри, целых пятнадцать минут просрочил. Тебя все ждут.

Он на правах старинного друга дома говорил всем «ты».

— Сейчас, сейчас, Платон Андреевич, все вот он виноват! Здравствуйте, голубчик! Кстати, помогите нам рассчитаться. У меня нет в настоящую минуту денег, а у вас они всегда в кармане. Дайте, пожалуйста, рублей двадцать пять.

— Изволь, мой друг, и не задерживай. Карты давно на столе, — сказал Григораш, вынимая туго набитый бумажник и отсчитывая деньги.

— Завтра или послезавтра отдам, спасибо. Идите же и собирайте партнеров, я сию минуту... Вот, братец, — сказал он Булгакову, кивая на Григораша, — ходячий капитал! Продавал два имения в Малороссии, и теперь двести

тысяч наличными в банке лежат. И одна единственная дочка. Милостивая девочка, не зевай. — И Андрей снова кивнул в сторону ушедшего Григораша. — Не красавица, но двести тысяч скрасят хоть чорта в юбке.

— Это тебе, — сказал Андрей, отсчитывая двенадцать рублей и отдавая их брату, — а это мне, чтоб было чем расплатиться в случае проигрыша в карты. Ну, идем в зал!

Выйдя из кабинета, хозяин быстро поздоровался со всеми, сказав каждому по несколько приветливых слов, и затем направился к одному из карточных столов в гостиной, на котором Платон Андреевич разложил карты красивым полукругом. Младший же Булгаков не пошел ни к нему, ни к шумному кружку, столпившемуся вокруг диванного стола под председательством хозяйки, а сел сейчас же за дверь кабинета к угловому столику и задумался.

Он думал о Григораше, о его Наточке с ее приданым. «Не зевай», — повторял он себе слова брата. — «С такими деньгами можно начать организацию целого края. Что же? Попытаться разве счастья! Она совсем еще ребенок, значит можно гнуть, куда хочешь. Достанется прокурору — будет прокурорша; попадет на лоно нашему брату радикалу — будет радикалка. Положим, не ахтительная, а все же, по доброте, деньги отдаст на что угодно, — продолжал он, развивая свою мысль. — Ну, а потом что? Потребуется любви. Вот тут-то уж неизвестно что! А разве эти ее деньги честные? Я не был бы виноват, если бы, положим, пришлось стать орудием более справедливого, то есть более

разумного, — поправился он, — употребления этих награбленных ее отцом сумм».

Но Булгаков чувствовал, что все такие рассуждения не приводят его ни к какому окончательному решению, и вопросы снова теснились в его голове. Житье с нелюбимой. «Да ведь она — добрая, это видно с первого взгляда, может быть, к тому же окажется не дурной, так за что же не любить ее? И не хуже ли, если ее мужем будет какой-нибудь жандармский полковник, который положит в карман эти двести тысяч и будет нас же ловить. И ведь живо найдется такой муж. Так нет же, — чуть не воскликнул он, — поспорим! Не дам согнуть эту молодую лозу. Надо ей хоть путь указать. Пусть только она от них отвернется. Если не нам, то и не им!» — Он сжал кулак, и увлеченный своими мыслями, ударил по кругленькому столику так, что одна из трех его ножек с треском разъехалась, вследствие чего стол покачнулся на бок.

— Положим, Александр Македонский был великий человек, но следует ли из того, что надобно ломать мебель в доме вашего брата, — произнес, смеясь, проходивший Кастрюлин, ловко подхватив столик на лету и удерживая его от дальнейшего падения.

Булгаков нагнулся, вставил выдвинувшийся шип обратно в гнездо и прислонил столик к стене.

— Увлечся идеей разрушения, — обратился он к Кастрюлину. — Садитесь!

— Вижу, — ответил тот, усаживаясь рядом на стуле. — Я уже давно слежу за усиленной

работой вашей мысли, но никак не ожидал, что она разрешится таким энергическим эффектом, а то бы предупредил. Но, кажется, на нас не обращают внимания, и я пользуюсь минутой, чтоб сказать вам, что если вы знаете пароль «на черепаху», то я могу сообщить вам кое-что.

— Знаю: «улитка».

— Это я только для одной обрядности спросил. Сомнения быть не могло. Ваша маска так известна среди товарищей.

— То есть, маска арлекина, — засмеялся Булгаков.

— Пожалуй, хоть и так. Надо сознаться, вы играете свою роль артистически.

— Я так сроднился с нею, что часто сам не знаю, где собственно кончается арлекин и где начинается во мне человек.

— Но такая роль слишком эффектна, обращает на вас внимание, — с ударением произнес Кастрюлин.

— В том-то и суть: чем более бьешь в глаза, тем менее присматриваются.

— При известных условиях такой расчет бывает верен. Но вот вам письмо, оно получено только вчера вечером, и я во всякое время к вашим услугам. Я живу в доме Эротузы в качестве учителя. Это на Купеческой улице, — вы знаете?

— Знаю, — ответил Булгаков, быстро сунув конверт в карман. — Постараемся не казаться конспираторами, на нас опять наступает двутробка.

Кастрюлин чуть улыбнулся одними глазами

и встал навстречу тяжело переваливающейся хозяйке.

— Хороша нынче молодежь, бросили дам и скрылись в уединении! Извольте же заглядывать свой проступок и явиться любезными кавалерами! Дамы вас требуют!

— Что касается меня, Полина Егоровна, я должен откланяться и пожертвовать этим удовольствием ради науки, — ответил Кастрюлин.

— Как, уже уходите? А ужин?

— Благодарю, но у меня еще вечерний урок.

— О, вы человек ученый, я знаю и потому не буду более удерживать, хотя мне и жаль потерять такого гостя! А ты, Николай, должен непременно рассказать нам столичные новости! Давай же руку! — Она подошла с ним к дивану. — Вот привела к вам беглеца! Садись и рассказывай!

— О чем прикажете?

— О Петербурге, конечно, не о Париже.

— Извольте, mesdames и messieurs, миледи и милорды! — развязно обратился Булгаков к окружающим, тотчас же входя в свой обыкновенный тон. — Петербург — столица России, стоит при реке Неве, через которую перекинут Николаевский мост в три четверти версты длиною. И это тем удивительнее, что сие грандиозное сооружение воздвигнуто на основании дифференциального исчисления, то есть бесконечно малых величин. Посреди моста возвышается часовня, а к ее стене прибит термометр в два аршина, который всегда показывает сорок градусов мороза. Исаакиевский собор — третье здание по величине в Европе. В алтаре его ма-

сляными красками на стеклянном окне в четыре сажени величиною изображено Распятие. Дюссо и Борель — суть лучшие кабаки, в которых выпиваются заморские вина и пожираются всякие живности, от млекопитающегося быка до пресмыкающихся черепах и лимбургских червей включительно. А на Волковом кладбище покойников шлепают прямо в воду, которая там стоит на поларшина глубины, где их в свою очередь пожирают черви и другие пресмыкающиеся гады.

— Ну тебя, понес околесицу! — перебила Зинаида Александровна. — Ты нам лучше о театрах, об опере! Как тебе понравилось?

— Изволь, душа моя, можно и о театре. — Он зажмурил глаза и, бросив прежний торжественный тон, начал скороговоркой, как отвечают зазубренный урок, качая в такт головой. — Божественная Патти поражает чистотой и необыкновенной обработкой своего голоса, ее рулады и трели скорее напоминают артистическую игру какого-нибудь музыкального инструмента, чем звук человеческого голоса, это просто волшебная флейта. Тогда как обожаемая Лукка влагает больше души и чувства в свое пение и много выигрывает страстностью своей игры. Но восхитительнее всех несравненная Нильсон, которая... фу! Устал! — произнес он, открыв глаза и переводя дух.

— Ты все дурачишься, а лучше бы сказал нам в самом деле, в чем ты видел Лукку, как она играет!

— Да, право же, не о чем и говорить. Видел я ее в Сомнамбуле, бегаёт на сцене в одной

юбке, распустивши волосы, а публика кричит: «foga!» Она дрыгнет как-нибудь ножкой, ей опять «biss!».

— А какие ей овации устраивают, тебе случилось видеть? — всполошилась Полина Егоровна.

— Как же не видеть! Во-первых, как окончится действие, волокут ей через партер прорву букетов, и на каждый ее букет целая семья рабочая с пятью работниками могла бы прожить несколько месяцев. Потом ее самое волокут к подъезду кареты, и наконец, когда хлопнут дверцы и кучер тронет лошадей, то бегут вокруг, вскакивают на подножки и лижут стекла ее кареты. И вот на другой день в газетах все это безобразие так пропечатают, что вам-то издали кажется, будто и в самом деле что-нибудь нужное происходило.

— Ужинать подано, — доложил человек, появляясь в дверях столовой.

— Господа, прошу! — громко возгласила хозяйка.

Ужин затянулся, и гости поздно разошлись по домам, держась группами, кому по дороге, ибо в городе было неспокойно, благодаря тому, что несколько сот корабельных рабочих остались без работы вследствие сокращения казенных расходов. Голодный люд ударился в грабеж, дерзость воров достигла неслыханных размеров. Многие вору завели револьверы, в дома вламывались открытою вооруженною силою, или употребляли такой маневр: сами жулики кричали «караул» под окнами, чтоб выманить хозяев, а затем вскакивали в растворен-

ную дверь или окно сердобольного хозяина. Посылаемые в обходы из местных войск впадали в стачку с жуликами, и полицейские свистки обращались в сигнал для нападения, что окончательно сбило с толку и полицию, и горожан. Даже вооруженные офицеры с револьверами в карманах не решались ходить в одиночку, особенно по малонаселенным частям города, а на женское население это навело положительную панику.

Так и теперь в доме Виртинга на женской половине не довольствовались одними запорами и крючками. Прежде чем заснуть, дом был приведен в оборонительное положение, т. е. все окна и двери были забаррикадированы кучей стульев и кресел, так что при малейшем движении ставень все это могло рухнуть с грохотом и произвести тревогу. Улегся и дядя, посоветовав через дверь племяннику не держать долго открытым окно.

— Фундамент хоть и высок, а тоже вскопчить недолго, и время уже позднее.

— Не беспокойтесь, дядюшка, у меня есть всегда шесть пуль наготове, — отвечал Булгаков.

Окно его маленькой угловой комнатки, выходящее в узенький палисадник, продолжало оставаться открытым.

Он сидел у стола, выписывая из данного ему Кастрюлиным письма ряд цифр, которые каким-то странным образом превращались в буквы, буквы собирались в слова, а из слов складывались фразы. Если бы даже он и не был так погружен в свое арифметико-этимологическое занятие, то и тогда ему трудно было бы заметить пару глаз,

зорко следивших за всеми его движениями из-под густого сиреневого куста, широко разросшегося в палисаднике, отделенного от улицы низенькой деревянной решеткой. Наконец его труд был окончен, и результаты были безжалостно преданы сожжению на лампе.

Внимание Булгакова уже давно привлекал своими раскатами беспрестанно проезжавший мимо окон экипаж. Теперь вновь послышался шум колес. Он из любопытства перегнулся через окно, чтоб лучше рассмотреть сидевших в экипаже, но ничего не мог заметить, потому что верх фаятона был поднят, хотя погода стояла прекрасная, и это обстоятельство ему тоже показалось странным, так как биржевые извозчики поднимают верх только в случае дождя. Фаятон прокатил мелкой рысью, завернув за угол дома и через десять минут снова проехал обратно. Булгаков хорошо заметил, что это были те же самые серые лошади. Такой меневр повторялся несколько раз.

«Какие-нибудь низшего разбора донжуанские ухаживания за хорошенькими прачками», — подумал он, вспомнив бойкие глазенки прачки Даши, прислуживавшей за чаем, и жалобы тетки, что ее работницы все бегают за калитку любезничать с своими кавалерами. Он закрыл окно, разделся и задул лампу.

В тот момент, когда он стал совсем забываться в сладкой дремоте, ему послышался где-то резкий звенящий удар, словно посыпались разбитые стекла, и потом какой-то глухой шум за стеной.

«Не воры ли? — мелькнуло в его сонной голове.

«Э, вздор, с бабами живешь, так и мысли на бабий лад настроены». И он в ту же минуту заснул богатырским сном.

Булгаков всегда уверял бабушку, что она не угадала своего призвания в жизни, что она рождена для трагедии и если бы играла на сцене, то составила бы всемирную славу. Действительно, Мария Михайловна имела неопределенную страсть к потрясающим монологам и впадала в драматический пафос при всяком ничтожном поводе, делая из мухи слона.

Поэтому Булгаков ничуть не испугался, когда на следующее утро был пробужден ее ранним появлением в дверях своей комнаты, с поднятыми вверх руками, с очками, на этот раз мотавшимися на шее, что должно было изображать крайнюю степень смятения. Она громко зывала:

— Ах, Коля, Коля, ты все еще спишь!

— Нет, бабушка, теперь не сплю, потому что вы разбудили меня.

— Ты спишь! — повторила она, чтоб не сбиться с роли, — и не знаешь, какое страшное несчастье разразилось над всеми нами!

— Сейчас, бабушка, все узнаю, — тоном непоколебимого убеждения произнес Булгаков.

— Откуда же ты узнаешь? — уже с ребяческим любопытством в голосе спросила старушка, совершенно забывая трагический тон.

— Да ведь вы сейчас все скажете?

— Да! Я скажу тебе, какое страшное происшествие случилось в эту ночь! — тотчас же опять впадая в трагический тон, начала она. — Скажу, что нас обокрали до нитки. Все муж-

ское белье, наши меховые вещи, шубки! Вот здесь кладовка, за этой стеной! Окно выломано, сундуки взломаны! И как это ты не слыхал!?

— Нет, бабушка, я не только слышал, но и видел фаэтон, на котором ваши вещи увозили, — сказал Булгаков, припоминая ночную езду под окном, обратившую на себя его внимание, и звон выбитых стекол, смутно донесшийся до него в момент засыпания.

— Господи, помилуй! Но как же ты допустил?

— Спать хотелось, бабушка, я и поленился! Думал, только показалось, ая вышло и заправду пошалили!

— Ах, мать божия! Слушайте, слушайте! Наш Коля ведь все видел! — И она поспешила разнести по дому это новое обстоятельство, дающее еще больший интерес событиям. В доме никогда не вставали раньше десяти часов; теперь же, благодаря поднятой тревоге, несмотря на то, что было только семь часов утра, все население суеилось по комнатам в самом отчаянном дезабилье. Даже дядька, всегда чопорно приличный, теперь в одном нижнем белье и завернувшись в шелковое одеяло, шлепал своими пантуфлями по коридору к злополучному чулану.

«Ну, теперь здесь пойдут ахи на весь день», — подумал Булгаков, выходя в столовую и машинально отыскивая глазами свою «бандитку».

Потом он завернул в темную кладовую. Там стояла его корзина, совсем приготовленная, покрытая чистою скатертью. Он взял ее и вышел из дому никем незамеченный.

ТОЛКУЧКА

Какая смесь одежд и наций!..

Булгаков старался дать себе отчет в своих чувствах. Он хорошо знал, что случившаяся покража будет очень чувствительна для домашних: весь зимний гардероб для целой семьи, да еще казенное белье, которое надо экстренно возвратить... «Сотен, пожалуй, на пять будет», — соображал он. Но все-таки он не мог откопать в себе и признаков сочувствия семейному горю. Просто какие-то отрывочные общие соображения скользили в его голове, не затрагивая чувств.

«Обворовали... гм... конечно, общество не может существовать при таких условиях... А дядька разве не ворует там?.. И какая же из двух форм воровства более злостная?.. Выходит, вор у вора крадет... Ну, и чорт с ними, пусть себе перекрадывают друг у друга! Мне-то какое дело? Пусть мертвые погребают мертвых, живые же пусть думают о живых!»

Но мысли его опять возвращались к той же теме: «Здесь, — думалось ему, — воровали, быть может, из нужды: работы нет, жрать хочется...

А сам мой дядька крадет для роскоши, или, по меньшей мере, для комфорта... Нет, с ними и сам-то я, чорт побери, в какой переплет чуть не попал!» — думал он, быстро шагая с корзиной в руках по широкому тротуару еще пустынных улиц, ища глазами извозчика. «Ведь не одолей меня вчера сон, вздумай я выглянуть в окошко, чего доброго, надо было бы стрелять, защищая имущество, в этого самого вора! Вот оно что значит борьба общественных сил!»

— Извозчик, на «Леваду»! — крикнул он, садясь на фэтон и подозрительно поглядывая на пару его серых лошадей.

Булгаков скоро разыскал маленькую хатку с стоящим перед ней деревянным станком дляковки лошадей и, расплатившись с извозчиком, забрал свою корзину и вошел в кузницу.

— А, здравствуйте, хозяин, — произнес он обычным южным говором.

— Здорово булы! — ответил кузнец, даже не взглянув на вошедшего. Он усердно ворочал клещами в самом жерле горна, из которого широкая горловина мехов, пыхтя, выдувала целый столб блестящих искр. Девочка лет десяти налегала на конец шеста, приводящего в движение меховые днища.

— Бог помочь!

— Нехай и вам поможе!

Кузнец выхватил из пылавших углей кусок добела раскаленного железа и зачастил молотком по наковальне, производя такой грохот, что пришлось замолчать и подождать, пока железо, сплюсываясь под ударами, постепенно перешло из яркочерного цвета в темновиш-

невый, затем в фиолетовый и, отливая синевою, наконец, совсем потемнело. Тут только хозяин взглянул из-под седых нависших бровей на посетителя, выжидая дальнейших объяснений.

— Где у вас тут постояльцы проживают? — спросил Булгаков.

— А вам кого? Вон задняя хата во дворе. Біжі, Івга! Проводи паньча до жільців.

Девочка бросилась от меха к низенькой двери, выходящей на большой двор, широкий, что твое поле. Булгаков последовал за нею.

— Та зараз! Не барысь! — с чисто хохляцким лаконизмом крикнул ей вслед старик.

Они молча перешли через весь двор.

— Ось тут! — сказала девочка, ткнув пальцем почти в самую дверь небольшой, крытой соломой мазанки, и тотчас вприпрыжку побежала обратно, очевидно во исполнение наказа: «не барысь».

Оставшись один, Булгаков прежде всего убедился, что дверь заперта и, не получив ответа на стук, стал обходить вокруг хаты, пробуя поочередно каждое окно. Из них одно оказалось незапертым и вместе со ставней сейчас же подалось, как только он толкнул его рукою. Окно было такое маленькое, что Булгаков с трудом пролез в него и очутился в чистенькой комнатке с земляным полом. На узких, в две доски, нарах спала совсем молоденькая девушка, почти девочка. Ее миленькое личико с разрумянившимися от сна щеками и алыми полуоткрытыми губками совершенно утопало в волнах густых, разметавшихся по подушке каштановых волос. Спустившаяся рубашка с красивой

малороссийской «оторочкой» открывала одно плечо и часть матовой груди, нескромно обнаруживая тайные прелести нежных, еще не вполне сложившихся женских форм... «Ишь как у них там все это деликатно устроено» — подумал Булгаков, на минуту останавливаясь и невольно любуясь спящей девочкой. Затем он тихо подошел к постели, осторожно натянув одеяло до самого подбородка, снова отступил на несколько шагов и принялся будить спящую:

— Барышня! Синьёра! А, синьёра! Эй, как вас там — прекрасная незнакомка!.. Да проснитесь же!

Девушка открыла глаза и несколько испуганно взглянула на незнакомца.

— Кто вы такой? — удивленно спросила она.

Булгаков шаркнул ногой и церемонно раскланялся.

— Двуногое животное, именуемое человеком.

— Как вы сюда попали? Это наша комната, женская... Как вы смели сюда войти!.. Вот там в аша!

Она гневно указала на дверь, осторожно высвободив кончик пальчика из-под одеяла.

— Я-с, изволите ли видеть, только что приехал из столицы и не знаком еще с вашими провинциальными порядками. А попал сюда потому, что вольно же вам держать двери на запоре, а окна наравноре... Ну, я и забрался к вам в спальню... такая уж у меня привычка: где скважина, туда и лезу! Это — одно из свойств моей натуры... Надеюсь, вы, как добрая хозяйка, не откажете гостю в стакане чая?

— Ну, хорошо, ступайте туда! — повелительно произнесла девушка. — Я сейчас оденусь.

— Иду и жду! — ответил Булгаков, подняв с полу корзину, и вышел в соседнюю комнату.

— Да притворяйте же дверь плотнее! — пустила она ему вдогонку.

— Дверь притворю, как следует! — улыбнулся он, тщательно затворяя за собой обе половинки туго сходящихся дверей.

«Завзятая баба!» — подумал Булгаков, оставшись один.

Комната, где он теперь очутился, была несколько больше первой, но также с земляным полом, и точно так же кругом нее тянулись узенькие нары, на которых лежал слой соломы, покрытый дешевым ковровым рядном, какое обыкновенно употребляется извозчиками для простых попон. В одном углу перед этими импровизированными диванами стоял белый сосновый стол, а вокруг него несколько толстых полен дров, поставленных «на попу», очевидно долженствовавших заменять стулья и кресла. На столе маленький походный самоварчик неггердо держался на трех складных ножках, весь залитый донельзя зелеными подтеками, а на нем неуклюже восседал пузатый, непропорционально большой, с отбитым носом чайник. Далее несколько замусоленных стаканов без блюдец, корки черного хлеба, объедки колбасы и остатки прогорклого творогу на замасленном куске «Московских ведомостей».

«Ну здесь-то украсть нечего» — усмехнулся Булгаков, обводя глазами пустую комнату. У

него все еще оставалось впечатление ночного события у Виртинга. Через растворенную настежь дверь виднелись маленькие сенцы, а за ними кухонка с русской печью. Тут имущества было еще менее: кадочка с водою, ведро для помоев, да вязанка дров, беспорядочно сваленная в угол, а в другом углу возвышалась куча тряпок и лохмотьев. При внимательном рассмотрении это оказалось очень заношенное грязное белье, мужское вместе с женским, причем и на мужском белье были несомненные признаки женского употребления.

На окне, возле куска простого мыла, стоял глиняный щербатый кувшин, изображавший в одно время и черпак для воды и умывальник, да и всю кухонную утварь.

«А ведь, наверное, здесь живет целая община, не меньше нашего семейства, — подумал Булгаков. — Как не много нужно для человека, если он захочет ограничить себя только необходимым!»

Вскоре вошла хозяйка.

— Это книжки, что ли? — спросила она, протягивая руку к корзине, таким тоном, который ясно показывал, что книги здесь — обычное дело.

— Нет, это тоже пища, но не духовная, — ответил гость.

Девушка сдернула покрывало.

— Ах, какая прелесть! Паски!.. — вскрикнула она, и все ее детское личико так и просияло от удовольствия.

— Пойдите же, я сейчас поставлю самовар и уберу стол, как следует, а то вот уже третий

день Пасхи, а у нас здесь даже и не похоже на праздник!

Она схватила самовар и быстро исчезла в кухонку. Через пять минут оттуда потянуло дымком, а через четверть часа они уже сидели рядом у кипящего на всех порах самовара. Стол был даже покрыт чистой скатертью, снятой с корзины, и на нем по возможности в порядке были разложены яйца, ветчина и папушники. Молодая хозяйка налила чай себе и гостю, но только лишь потянулась за куском папушника, как Булгаков слегка отстранил ее руку.

— А где ваше «Христос воскрес?» — спросил он, шутя нагибаясь к ее личику.

— В карман спрятала! — бойко ответила девочка, несколько уклонившись назад.

— То-то, я вижу, он у вас так и оттопырился, — сказал Булгаков, указывая на высушенный из прорехи кармана кончик полуподвязанной юбки.

Девушка посмотрела на карман, вспыхнула и убежала в свою комнату.

«Бойкая барынька!.. Где это граф откопал?» — подумал Булгаков. И так как она не возвращалась, то спустя несколько минут он крикнул громко:

— Однако, барыня, если вы еще просидите там столько же, то рискуете остаться без пасхи: я все поем!

Девушка вышла, все еще немножко сконфуженная, но Булгаков постарался сейчас же занять ее разговором.

— Скажите, пожалуйста, неужели вы единственная обитательница всех этих чертогов?

— О, нет, здесь собирается иногда человек по десять, по пятнадцать, и живут часто целые месяцы... Но постоянно живем только мы с сестрой Аней... Она теперь куда-то уехала недели на полторы и уж скоро должна вернуться; ее послал по какому-то делу граф... Это мы так зовем одного очень... — она замаялась, — очень близкого приятеля моей сестры...

— Я знаю, — просто сказал Булгаков.

— Откуда же вы знаете об этом? — опять слегка краснея и тем выдавая свою сестру, сказала девушка.

«Вот оно, — подумал Булгаков, — то-то граф и не хочет поселиться на обсерватории!»

— Я знаю графа давно, это — мой очень — очень близкий приятель, — самым обыкновенным тоном пояснил Булгаков, не давая заметить, что понял ее смущение.

— На какие же деньги живет вся эта орава, когда съезжаются? Ведь их надо кормить?

— Не знаю, откуда граф достает, он и за квартиру платит... Все что зарабатывает, то в нашу коммуны и несет, так что сам по несколько дней сидит не обедая, если мы его не накормим.

— Выходит, значит, «кому — на, а кому — нет!» — улыбнулся Булгаков.

— Ай! что это у вас? — воскликнула девушка, заметив рукоятку револьвера из-под распахнувшейся полы его сюртука, и потянулась рукой к нему за пояс, — подарите его мне! Я хочу иметь всегда при себе револьвер...

— Зачем он вам? — спросил Булгаков, зажимая локоть так, чтобы она не могла вытащить револьвер из кобуры.

— Вот видите ли, — и лицо девочки вдруг приняло серьезное выражение, — здесь бывает всякий народ, и некоторые, когда остаются со мною, то лезут целоваться, как будто шутя, но мне это очень неприятно... А все это потому, что они сильнее меня... Если же у меня будет револьвер, тогда не посмеют.

— Неприкосновенность личности есть основное право всякого человека, тем более женщины. И кто нарушает это право, тот теряет и свою неприкосновенность... Вы можете защищаться, противопоставляя силе силу. Но этот револьвер для вас тяжел... да и в карман не влезет. Я вам принесу маленький, тот будет хорош.

— А все-таки покажите! я хочу посмотреть!

Она снова протянула руку к нему под сюртук.

— Ну, тяните, — сказал он, расстегнув кобуру.

— А! Зачем вы отдали оружие! Вот теперь вы в моих руках, что захочу, то и заставлю делать! Не смейте шевелиться! — И она прицелилась в него, держа револьвер, как ружье, обеими руками. Один ее палец случайно нажал собачку, замок щелкнул и курок взвился, подняв свою змеиную головку. Булгаков быстрым ударом отвел дуло. Выстрел грянул, и пуля задела в стене потолок. В ту же минуту Булгаков сдал точно клещами ее руку у кисти, пальцы ее бессильно разогнулись и револьвер упал на пол.

— Ну, на первый хорошо и это, — сказал он, нагибаясь и поднимая револьвер.

Девушка сидела неподвижно с широко раскрытыми глазами, не сознавая еще, что происходит вокруг нее...

— Ну, чего же так испугались? — ласково сказал он, погладив ее по волосам, как это делают с маленькими детьми, когда хотят их ободрить. — Ведь ничего особенного не случилось, вы нажали собачку, курок спустился и револьвер дал выстрел, — самая обыкновенная вещь. Никогда не следует так пугаться.

— Ах, как страшно! — нервно содрогаясь всем телом, проговорила, наконец, девушка, как бы очнувшись от сна, — ведь я могла вас убить!..

— Да, полагать надо, если бы этот кусочек свинца впился в меня, не стал бы я с вами теперь резониться... но и тогда мир не провалился бы и даже дыры в небе не сделалось бы: одним человеком стало меньше, вот и все!

— Да, хорошо вам рассказывать!.. Ну, что бы я в самом деле делала, если бы убила вас?

— Самое умное было бы в таком разе пойти и сказать поскорее графу, чтобы он позаботился убрать меня отсюда, пока я не протух...

— Ах, какая я дура! Никогда больше не буду так глупо шутить с оружием!

— Это не глупость, а просто неумение обращаться, потому что не знаете устройства механизма. Вот глядите, я вас научу, как надо обходиться с этой «глупой шутихой».

Булгаков принялся разъяснять ей значение замка в револьвере.

В этом занятии они не сразу заметили, как отворилась дверь и в комнату вошел малень-

кий востроносый человечек, с реденькой, торчащей вперед, белобрысой бородкой... Этот странный гость в своих громадных мужицких чоботах, в которые он уходил чуть не по пояс, казалось, был олицетворением сказочного «кота в сапогах». Поверх грубой из небеленой парусины рубахи на нем была надета куртка из желтого верблюжьего сукна, какие носят подгородние крестьяне южных губерний. Парусиновые же выпачканные дегтем шаровары, собранные у пояса на «очкуре», и засаленный картуз довершали его костюм. Окинув с порога комнату и присутствующих острым взглядом маленьких серых глаз, незнакомец, повидимому, убедился, что попал куда хотел, и, не нуждаясь в расспросах, молча поставил на нары небольшой сундучок, который висел у него за плечами на широком ремне, какие обыкновенно носят все бродячие мастеровые. Освободившись от ноши, вошедший не спеша поздоровался с присутствующими, прямо подавая руку, как бы знакомым, и тогда уже обратился с вопросом: «А, того... могу я видеть грахва?» Он говорил сильным бурсацким наречием, т. е. налегая на «о» и часто вставляя простонародные малорусские слова.

— Он, вероятно, придет часика через полтора, — ответил Булгаков.

— Ну, так я буду ждать! — решительно заявил незнакомец, севши в стороне на нары, и сосредоточенно замолчал.

— Вы давно знаете графа? — спросил Булгаков, искоса поглядывая с любопытством то на маленький носик гостя, то на его большие

сапоги, наполнившие комнату острым запахом дегтя.

— Я ёго ще й николи и не бачив!

— Как же вы нашли эту квартиру?

— Через штундистов... Я работал в артели каменщиков под Очаковым. Там прикащик — чортов сын — нашел книжки... пришлось втекать... Ну меня «братья» сюда и направили... Я семинарист Дрозденко. А вы кто? — обратился он к обоим.

— Это вот наша хозяйюшка, — ответил Булгаков, — не знаю еще сам как зовут, а я студент, недавно из Питера, известен более под именем «Ревизора».

— Меня все здесь зовут Саша, — встала девушка.

— Что же вы там в отдалении? присаживайтесь к нам, закусывайте, чем бог послал, — сказал Булгаков.

— Налить вам чаю? — спросила Саша.

— Та, пожалуй, влейте стакан, — как бы нехотя ответил Дрозденко, пересаживаясь к столу. — Скажите-ка, скоро ль там ваши питерцы за настоящее дило возьмутся, вместо того, чтобы баловаться разными рехвиратами та дебатами?

— Это смотря потому, что вы называете «настоящим делом», — заметил Булгаков.

— В народ итти, — ось що! — горячо заговорил Дрозденко, стукнув пальцами по столу и даже привскочив с места.

— Ну, если только это, то вам не долго придется ждать. В настоящее время наша братия из Питера валом валит, словно овцы из загона, по всей матушке Руси так и рассыпаются.

— А вы що ж так иронизируете? — накинулся на него Дрозденко, и его маленькие серые глаза гневно блеснули на собеседника. — Пора барскую-то шкуру бросить, та в кожаных лизти!...

— Добрій кожух, та тільки, шкода, не на нас сшит! — усмехнулся Булгаков, пародируя малороссийский выговор своего собеседника.

— Так тягните ножки по одежке!

— Во-первых, не всякий способен к превращению. Не легко гусю стать лягушкой, и из пана не выйдет хорошего хама... Вот из меня, например, — хоть убейте, — а мужика не делаете. А во-вторых... время чудес, изволите видеть, давно миновало, и ныне пятью хлебами не накормишь стомиллионного населения... Comprenez vous?

— Компреню! — ответил Дрозденко, утвердительно клюнув носом. — Продолжайте: який же с цего будет вывод?

— Вывод тот, что итти в народную массу так, как идут теперь, то есть в р а з б р о д — все равно, что пущать капли в море...

— Эге! — произнес Дрозденко, снова ткнув носом вниз. — Но капля по капле и камень долбит. Що ж робить, коли нема того свирля, ч сразу просвирлить?

— Сверло есть, — с ударением произнес Булгаков. — Оно заключается в дуле револьвера. Пропаганда боевыми фак...

— Честь имею явиться другом во всякое время к стати и некстати! — фразу эту развязно произнес появившийся на пороге совершенно еще безусый франтик, в узких пестрых панта-

лонах, в модной визитке и в шляпе «боченочком». В руках он держал хлыстик с серебряным набалдашником.

— Большою частью некстати! — проговорила недовольным тоном Саша, нахмуривая бровки.

— Как ангел небесный прелестна, как демон коварна и зла! — продекламировал франт, обращаясь к Булгакову. — Честь имею рекомендоваться: сын купца первой гильдии Петр Щеглов.

— Что ж, Щеглов так Щеглов, — ответил Булгаков. — Позвольте и мне в свою очередь: сын своей матери Скворцов, а вот этот — господин Дроздов и, наконец, вот эта — наша милая хозяйюшка, мадемуазель Синичка! Как видите, птичник довольно разнообразный!

— И так как мы все стоим за равенство, то позвольте и мне поклевать крох у вашего стола... Хлеб да соль, господа! — И он уселся рядом с Булгаковым.

— Едим, да свой! — сердито ответила Саша.

— Опоздали маленько, чай-то замерз, — сказал Булгаков, трогая рукою самовар.

— Ну, ничего, хозяйюшка нам подогреет, — возразил Щеглов.

— Как же, держите карман! Много вас здесь ходит, на всех не наставишься. Не велика птица, можете и сами поставить, если хотите чаю.

— Что ж, могу и сам, — ответил гость, беря самовар и отправляясь в кухню.

— Що це за птица така? — иронически об- ратился Дрозденко.

— Щегленок, разве не слышали! — ответил Булгаков. — Но за что вы, Саша, так не жалуете его?

— А не люблю я этого фатишку! Граф говорит, что он все-таки нужен, потому что можно брать у него деньги «на дело»... Ну, и пусть целуется с ним...

— Но где же у вас уголь? — спросил Щеглов, показавшись на пороге.

— А надо из печки нагрести, — ответила Саша.

— Да тут ни единого уголька! — послышался его голос из кухни через растворенные сени.

— Ну, если нет, так ставьте без углей.

— Это в роде того, что верхом на стуле в Москву ехать! — резонировал Щеглов, входя в комнату. — Как же без углей поставить?

— Очень просто: наломайте щепочек, да и подбрасывайте понемножку в трубу.

— Ну, это длинная история, я так не умею, — возразил юноша, отворачивая обшлаг новенькой визитки и безнадежно садясь к столу.

— Вы небось успели уже раза два кофе напиться, да хорошо позавтракать, так вам и лень, а кабы есть хотели, то, небось, сумели бы! — неумолимо возражала девушка.

Между тем, компания увеличивалась. Прибыл еще один гость, с густой, щетинистой рыжей бородой, рыжими, торчащими на голове волосами и большими, на выкате, глазами, с красными припухшими веками, не то от бессонных ночей, не то с перепоя. Неуклюже цепляясь на ходу нога за ногу, он беспрестанно, как-то подозрительно озирался во все

стороны. Его беспокойные глаза то и дело перебегали с предмета на предмет, словно отыскивая скрытую опасность. Вообще в выражении этих бегающих глаз, во всей манере и ужимках этого человека было нечто заячье. Невыгодное впечатление еще в значительной мере увеличивалось его двусмысленным костюмом. Какой-то серо-гороховый балахон, совершенно утративший свой первоначальный цвет; коротенькие панталончики, далеко не доходившие до щиколки, обнаруживали рыжие нечищенные сапоги со сбитыми задниками и продранными носками.

«Не это ли жулик?» — подумал Булгаков, глядя, как вошедший, осторожно озираясь, снял с плеч большой серый мешок, поставил его в угол и стал медленно, как-то боком подходить к столу.

— А, Коваленко! От приехал господь еще по-видаться! — приветствовал его Дрозденко.

— Здравствуйте! Виткиля вас бог занес?

— В очаковских каменоломнях работал.

— Что же бросили?

— Та там прикащик такой аспид, поймав мои книжки, пришлось на втікача!

— Чи втік?

— Втік!

— Без расчета?

— Якій там расчет... покинув и паспорт.

— Э-э!.. А де наш адрес узяли?

— Щей с Одессы... брат Хведор дал на случай...

— От оно... Здравствуйте, барыня, — обратился Коваленко к Саше. — Вот вам приданое,

забирайте сундуки, — пошутил он, указывая на свой грязный мешок. Но шутка вышла какая-то сухая. Саша молча подала руку и направилась к мешку, с которым и ушла в свою комнату. — А вот вас-то я не знаю, — отнесся он к Булгакову, но все-таки протянул и ему руку.

— Немудрено: я ведь залетная птица из столицы.

— Ну, так, должно, это про вас говорил граф, — он тоже произносил с бурсадским акцентом на «о». — Вы, кажется, не очень-то любите нашу штунду, да и вообще народ а...

— Нет, почему же, в своем месте он хорош: народ — это рычаг сильный, хотя и трудно приспособляемый...

— Берр-р-егись! Р-р-р-аздавлю-ю! — послышался из сеней сиплый пьяный голос, и вслед затем в комнату ввалился, раскачиваясь во все стороны, здоровенный мужчина без шапки, в грязном дырявом зипуне нараспашку, из-под которого виднелась свежая, хотя и примятая, крахмальная рубашка и черный тонкого сукна жилет, вполне гармонировавший с такими же мало приличными брюками и лакированными ботинками на громадных ногах.

— Вы на рожу мне взгляните: точно в каторге я был! — Он сильно качнулся в сторону, широко растопырив свои громадные ноги, чтобы сохранить равновесие.

Саша выбежала из комнаты и схватила его за руку:

Дядя Пава! Вы опять пьяны?!

— Опять, душа моя, опять! хоть возьми, да выжми! — Он махнул в воздухе всею пятерней растопыренных пальцев, показывая, как нужно выжать.

— Это вы чего же ради так намочимордились? — спросил Булгаков.

Гигант прищурился на него припухшими, воспаленными веками... В его осовевших глазах на минуту мелькнул луч сознания:

— Жить, — изволите ли видеть — так, как хочется, нельзя; а как можно — не хочется!.. Ну, вот оно и того! — Он выразительно крутнул своим громадным кулачищем над мохнатою головою и шагнул вперед, норовя подойти к столу, но непослушные ноги опять отнесли его в сторону.

— Куда ты толкаешься, сивуха проклятая! — добродушно сказал он самому себе.

— Ну, а часы где? — произнес Булгаков, глядя на оборванный кусок золотой цепочки, болтавшейся на петельке.

— Там, где и пальто!

— А пальто где?

— Там же, где сюртук!.. — Он запнулся, сделал шаг в сторону, качнулся еще раз, потерял равновесие и грузно свалился на нары. — Где упал, там и спал, — бормотал он. — Саша, милое создание! садись в годовах и будь моим ангелом хранителем.

Саша действительно вынесла подушку и, положив под голову великана, присела возле: «Ну, спи, спи, дядя, — говорила она, приглаживая его вскоченные волосы. Несколько минут он пролежал с закрытыми глазами,

затем его отяжелевшие веки опять полуоткрылись. Он с видимым усилием приподнялся немного, и снова голова его бессильно упала на подушку. «В-в-в кар-ман!» — произнес он едва внятно и тотчас же заснул. Саша тотчас бесцеремонно стала шарить в его кармане и, вытащив коробку конфет, принялась угощать ими публику.

— Так эта винная бочка и впрямь ваш дядюшка? — спросил Булгаков.

— О, нет, это наш общий «дядюшка», мы его все так зовем.

— Колы бы с цёго дяди та выточить горилку, яка в нем есть, то всі бы внучата перепылись, — сострил Дрозденко.

— Ого! Да мы здесь уже упражнялись! — сказал вошедший граф, сразу заметя пулю, засевшую в штукатурке, и бросив беглый взгляд на Булгакова и Сашу.

— Маленько позабавились, — ответил Булгаков.

Саша пошла графу навстречу.

— Здравствуйте, граф, это я, дура такая, чуть не наделала беды... ну, да после расскажу. А пока садитесь, я сейчас вам чаю дам.

И она схватилась за самовар.

— Да погодите, ведь вам, небось, который раз приходится ставить его, поди надоело... так не стоит... мне не особенно хочется.

— О, я и х не балую, и сегодня еще только один раз ставила.

— Ишь, вот совсем иначе запела, а мне так и не дала чаю! — вставил Щеглов. — И за что вам, граф, такое счастье?..

— А за то, что он не вам чета! — вмешалась Саша. — Вы лодырничаете, а он по целым ночам работает! Вы шоколады распиваете, а он по три дня сидит не евши, потому что все деньги нам же отдает. А чай ему нужен, как лекарство. Вот вам и весь сказ! — отрезала она, вынося самовар из комнаты.

— *A la guerre comme à la guerre!* Воюете все! Ну, да плюньте на это дело, у нас есть поважнее! — обратился к юноше граф, вынимая квитанцию Булгакова. — Вот съездите-ка, да получите с вокзала. Тут, батенька, целая революция!

Юноша так и просиял горделивым самодовольствием и, схватив шляпу, хотел уже бежать.

— Да погодите вы, вьюн, куда же вы его повезете?

— А в самом деле, куда я с ним денусь? — спросил тот, в недоумении останавливаясь среди комнаты.

— Везите на квартиру Стрижевского, да смотрите, помните, что это имущество общественное, хотя и на ваши деньги. Книг не раздавайте, пока не выберем всем обществом библиотекаря...

Но юноша уже не слушал и мчался на всех парусах, забыв и про самовар, который должен был сейчас появиться на стол, и про Сашу.

— Ключ-то от сундука у меня, — заметил Булгаков, — так будут целы!

— Этот сорванец, пожалуй, и без ключа взломает, — усомнился граф.

— Сундук надежен, окован железом и с двойным замком.

— Ну, теперь, кажется, наша изба без лишнего бревна, так можно и о деле поговорить, — начал Дрозденко.

— Мне о вас известно из письма «Гришки», — перебил его граф. — Вы желаете поближе познакомиться с вожаками штунды, для чего хотите пристроиться между ними в неинтеллигентном виде. Но теперь глава их, Рябошапка, ушел на пропаганду в другую губернию. Это самый выдающийся представитель... Да притом же, после очаковских осложнений, вам, пожалуй, удобнее пересидеть некоторое время у нас.

— А, того, про Очаков-то вы откуда узнали?

— Это, батенька, уж, конечно, не из письма, а прямо из полиции... — Он улыбнулся. — Есть, значит, у нас и там «свои люди»... Ну вот, а полиция уже разыскивает вас. Зачем было со своим документом итти? Взяли бы фальшивый, невинность-то и сохранили бы.

— А про меня, наплевать на легальность! И свой документ был подходящий: сын дьяка может и черной работой пробавляться, чтобы не сдохнуть с голоду.

— Ну-с, так вы малость пообождите! — продолжал граф. — Через месяц у штундистов будет генеральный съезд на «Братских хуторах». Мне Рябошапка прислал сказать через брата Петра, чтобы мы и туда приезжали. Это будет верст двадцать в сторону от линии железной дороги; мы туда, значит, и отправимся всем кампанством, даже с дамами. Там вы сами пе-

резнакомитесь со всеми и пристроитесь, как найдете удобнее. Пока же вам самое лучшее, я думаю, посидеть смирно; вот тут и живите. Порожного места у нас много.

Он указал на голые нары.

— Нет, это не «самое лучшее», а самое лучшее будет вот что, — вмешался Булгаков, у которого блеснула счастливая мысль сбить этому молодцу скучную работу разборки шрифта. — Во-первых, — продолжал он, — «толкучка» слишком бойкое место для укрывательства разыскиваемых. Сюда, как видите, залезают всякие «щеглята», а кто поручится, что они не хвастают среди пустоголовых товарищей коротким знакомством с нами? А, во-вторых, чем без дела болтаться, вы можете принять участие в постановке печатного мастерства...

— Вы что же хотите друковать?

— Там что бы ни было, это другой вопрос! Дело в том, что, независимо от наших теоретических разногласий, подпольная пресса уже сама по себе факт революционный. Почему же и не помочь на досуге? Ведь я не предлагаю вам это как постоянную профессию, а только между прочим, чтобы время даром не пропало.

Граф укоризненно покачал головой: «ишь, у вас сейчас уже и план созрел, как свалить обузу на другого, чтоб самому отвильнуть от дела», — без слов сказал он.

Булгаков ухмыльнулся себе в бороду и продолжал:

— Так если согласны, то и по рукам! Сегодня же примемся за дело! Приищем подхо-

дшую квартиру, а то здесь работать неудобно, слишком базарно. А вы там поселитесь, будет хороший приют, да и для дела без лишнего народа.

— Добре, согласен, бо я теперь остаюсь в роде того, что на ваших харчах, то и выходит, значит, «скачи, враже, як пан каже». Но не рассчитывайте на меня более, как на месяц, потому что я и одного дня не хочу потерять лишнего на эти господские затеи. Только того, нужно пашпортник раздобыть...

— Вот и лучше было бы свой-то прибереечь, — заметил Булгаков. — Ну, да теперь уж вчерашнего дня не вернешь, я вам «выстираю» мешанскую бланку. Вы же сегодня облюбуйте квартирку, эту ночку переночуете здесь, а утром я и явлюсь опять со шрифтом...

Между тем явилась и Саша с самоваром. Она налила стакан крепкого чаю графу, заботливо подложила ему оставшуюся краюху шафранного папушника, а к остальным обратилась с бесцеремонною короткостью:

— Ну, можете сами наливать, руки у каждого есть, а мне нужно бежать по воду! — и, набросив на голову большой серый платок, она вооружилась ведром и вышла из хаты.

Коваленко тотчас же и принялся употреблять в дело свои руки, но в более альтруистическом направлении, чем указала Саша, потому что стал разливать чай для всех и себе последнему. При этом, выполаскивая стаканы, он плескал из них прямо на пол на самую середину комнаты с таким невозмутимым спокойствием, как будто именно там и находилась помойная яма.

Вообще в его манерах выказывалась чисто бур-
сацкая угловатость, и хотя он делал все неспеша, методически, решительно, но тем не менее каждый его шаг и каждое движение носили характер чего-то незаконченного, какой-то неуклюжести. Мыл ли он стаканы, стаканы все-таки оставались замусленными, наливал ли он в них чай, на столе оставались лужи, хотя стаканы все-таки оказывались недолиты до края. Или вдруг примется дуть в трубу самовара с таким усердием, что засыплет золою и налитые стаканы и глаза присутствующих.

«Какой-то неудачник, — отметил про себя Булгаков, — точно его из-за угла мешком вымели! Дело, пожалуй, сделает, но мастером никогда не будет».

Наконец чай был розлит и попал в стаканы, наполненные серой золой из поддувала; глаза собеседников были также засыпаны золой, а от самоварного крана, вдоль всего стола, образовался широкий поток воды, ниспадающей каскадом на пол. А Коваленко, почив от дел рук своих, стер грязным рукавом горохового балахона крупные капли пота у себя со лба и под носом.

— Господа! — обратился Булгаков ко всем, — позвольте поставить вам один практический вопрос. Вот мы все сидим здесь в этой квартире, едим, что бог послал и хозяйка сварила. Сюда же в общее пользование Коваленко притащил в мешке, если не ошибаюсь, чуть не целый пуд книг... А деньги добывает на все один граф, и их, конечно, скоро нам нехватит на жизнь, на шрифт, на книжки...

— Да, я и забыл, — перебил Коваленко, обращаясь к графу, — это из Одессы брат Федор прислал с подводами пятьсот экземпляров «Хитрой механики», книжка очень подходящая и между братьями идет успешно... То я хотел спросить, как вы полагаете, разносить ли ее по учителям, или разом раздать на съезде?

— Пожалуй, в виду дрозденкиного провала, — заметил граф, — лучше будет пождать, и не ходить вовсе к учителям... На съезде разом и спустим все...

— Так вот, на все это нужны деньги, а где их брать? — продолжал Булгаков развивать свое предложение. — Я ставлю вопрос еще шире: откуда революция должна черпать материальные средства для пополнения своей военной кассы?

Он на минуту приостановился. Дрозденко переглянулся с Коваленко, а последний покосился на графа, но тот упорно смотрел в свой стакан и не произносил ни слова.

— Я знаю, господа: вы полагаете, что это дело тех, кто имеет связи в высших слоях, кто не порвал еще всех сношений с буржуазией, как, например, я. Но нельзя же вечно жить одним только подаванием!.. Да и те гроши, которые даются нам сочувствующими, мы получаем еще пока по какому-то странному недоразумению, которое без сомнения скоро рассеется, и тогда этот источник иссякает... Революция должна иметь собственные фонды. Я прошу, господа, высказаться...

Граф почесал затылок, что выражало у него затруднительное состояние. Вопрос этот, как и

многие другие, оставался для него открытым, хотя он и чувствовал постоянную необходимость разрешить его... Лицо Коваленко ясно выражало, что он хорошо знает, что надо делать, но готов выслушать всякий вздор, какой понесут другие об этом предмете. Только один Дрозденко решил вопрос смаху, без обиняков.

— А на чорта нам гроши?! — энергически возразил он, ударив пальцем по столу. — Обойдемся и без них! Народ сам по себе сила, в нем же находятся и средства... Не его ли богатством живет все государство! Так найдет и для себя — ось що!.. А пока що, нам треба смириться с ним, и каждый должен сам зарабатывать себе хлеб, а не барствовать в интеллигентном труде... Народные же книжки стоят всего три копейки, да их не много и надо... Народ книжки не читает, бо вин и грамоте не знае. А в момент восстания вин найдет себе готовые склады оружия во всех магазинах и казенных арсеналах — все это его же, ось що!

— Од те ж вам книжицы в Очакове знадобылись!.. Хотя им и три копейки цена, все же надо достать, сами-то они через границу не перейдут, либо самим нужно их печатать. Опять же не без денег это делается. Да вот и паспорт вам завтра наш Ревизор откуда достанет: тоже, поди, какому-нибудь волостному за бланки надо что-нибудь, — медленно, обдумывая каждое слово и как-будто с трудом выкладывая их, вставил Коваленко.

Затем, пошарив в кармане своего бесцветного пальто, он вытащил оттуда пять яиц и по-

ложил четыре из них на середину стола, а пятое принялся облупливать.

— Хотите? — отнесся он к Булгакову.

Тот машинально взял со стола яйцо.

— Коваленко прав, — начал он снова, — указывая, что до момента всеобщего восстания нужна продолжительная предварительная подготовка, которая требует значительных затрат...

— Мне кажется, что при затруднительных вопросах нам следует искать решения их в истории революции.

Коваленко искоса, хотя и одобрительно, взглянул на говорящего и тотчас же подхватил на лету этот намек:

— История нам ясно указывает, как взымалась, например, контрибуция на революцию польским жондом, — заметил он, справившись со скорлупой, и, круто посолив, скусил половину яйца.

— Революция должна употреблять революционные приемы, — продолжал Булгаков, — конфискации правительственных капиталов — вот средства, которые лежат перед нами, и, мне кажется, надо раз навсегда признать их в принципе, не смущаясь их юридическими названиями, ибо дело-то ведь не в названиях...

Коваленко даже облизнулся от удовольствия, но недоверчиво покосился в сторону графа.

— Фу, мерзость! Да тут целый цыпленок! — сказал Булгаков, с отвращением кладя в сторону свое яйцо.

— То вы уж и не трудились бы, — по обыкновению с расстановкой, медленно сказал Коваленко, замечая, что Булгаков берет другое

яйцо, — они все такие, с душком, то есть, — пояснил он.

— Зачем же вы покупаете гнилые яйца? — удивился Булгаков.

— Это не вредно, — успокоительно и самым серьезным тоном ответил Коваленко. — А между тем на три копейки дешевле: как раз, значит, и сэкономим на книжки Дрозденке. — И он с невозмутимым хладнокровием принялся есть яйцо, только что оставленное Булгаковым.

Даже Дрозденко, несмотря на весь свой ультрадемократизм, не был в состоянии составить компании своему коллеге:

— Смердит стерва! — произнес он, крутнув носом, и подложил свое разбитое уже яйцо прямо к стакану Коваленко, как человек несомненно убежденный, что это самая подходящая для того пища. — Настоящий стервятник, — пояснил он, — либо тухлыми яйцами, либо гнилой печенкой питается! Это он нарочно такие покупает, чтобы другие не ели, ему все и остается, — пошутил он без всякой тени неудовольствия.

— Но, признав грабеж, — сказал, наконец, граф, возвращаясь к прерванному разговору, — чем мы будем отличаться от грабителей? и как тогда нравственно влиять на них? Ведь разность целей и объектов действия при единстве средств трудно понимается. — Он на мгновение закрыл глаза, как бы прислушиваясь к неясному протесту внутреннего чувства, и добавил: — революционные и мошеннические приемы не должны быть смешиваемы.

Коваленко взял со стола последнее яйцо.

— Кажется, никто не хочет, так я съем и это, — без малейшего признака иронии проговорил он.

— На доброе здоровье! — поклонился Булгаков, и все весело засмеялись, а Дрозденко опять лаконически разрешил сложный вопрос о средствах: коли так, так и так! — согласился он с графом, утвердительно долбанув носом в знак окончательного решения.

«Парень покладистый» — отметил про себя Булгаков.

— Желал бы я знать, что эта кит-рыба изображает из себя в нашем обществе? — спросил он, показывая на лежащего дядю Паву.

— Ровно нуль! На этого человека деловую узду не наденешь, — ответил граф.

— Какой-нибудь Тит-Титыч из купеческой породы, что ли?

— Нет не угадали! поднимайте выше: сын покойной баронессы Вревской. Вот она какая кровь-то высокая!

— А сам-то по себе, что такое? — полюбопытствовал Булгаков.

— Трудно сказать, — нерешительно начал граф. — По-моему, художник прежде всего. Работал в академии, и даже на выставке его картины были из выдающихся... Затем артист, кажется на всех инструментах, особенно на скрипке: она у него только что слов не вываривает... К тому же математик. Смотрите, не вздумайте с ним диспутировать, заткнет, батенька, за пояс по первому абугу. С дифференциальными уравнениями, да с интегральными к нему и не подступай. В теорию вероят-

ности вобрался! Помещал статьи где-то по математическим наукам, находился в печатной переписке с Чебышевым... И вдруг запил горькую и все бросил!.. Предлагали кафедру — отказался! И, как видите, прожигает жизнь в нашем захолустье во образе скульптора, скорее даже полуинтеллигентного ремесленника, — тем и кормится. Лепит из алебастра корзины, да узоры над окнами, и все, что в неделю зарабатывает, то в две пропивает.

— Разве так много зарабатывает?

— Не больно много, да ведь и пьет-то одну дешевку, шампанское игнорирует, потому и хватает надолго, хотя поит всю нашу голь кабацкую... А жаль, голова светлая... очень светлая, — задумчиво проговорил граф, глядя на кудлатую шевелюру спящего гостя.

— Талантливая, даровитая натура, да без ума, — как-то сбоку вставил Коваленко. — По крайней мере, большого разума в нем незаметно, потому-то он и не может рассудить, что ему делать с своими дарованиями, а...

Но на этом «а» он был прерван быстро вошедшим маленьким человеком с широкими плечами, с почти квадратным туловищем. Из-под нависших, совершенно сросшихся бровей блестящих черных глаз, сидящие в глубоко ушедших под выпуклый лоб орбитах, а орлиный нос загнулся крючком над безусой губой. Он так быстро и неожиданно очутился среди комнаты, что казалось, будто выскочил из-под земли.

— Что же это такое?... На что это похоже? — грозно произнес он каким-то гортанным, режущим ухо голосом, ни с кем не здороваясь и ни

к кому собственно не обращаясь. — Нашли кому поручить! Этому Щегленку пестроголовому!.. Помилуйте, навел целую толпу таких же болванов как сам, взломал сундук, да и раздает себе книжки целыми охапками, без разбора сыплет направо и налево... Уж и половины не осталось!.. Я не виноват! Я ничего не мог сделать. Твердит, что он купил книжки не затем, чтобы они лежали в сундуке...

— Но ему же было сказано... да и сундук казался надежным! — возразил Булгаков, чувствуя на себе укоризненный взгляд графа. — Удивляюсь, как он его одолел!

— А так и одолел! — надвинулся карлик на Булгакова. — Притащил топор, да и взломал оба замка... Теперь прошу избавить меня и от этого Щегла, и от его сундука! — снова наскочил он на графа. — У меня есть дела и поважнее, вовсе не намерен проваливаться без толку по милости таких умников!

— Ну, полноте, Стрижевский, — сказал граф, — не шпионов же в самом деле он к вам навел. Как-нибудь уладим...

— Надо спасать, что осталось, — методически проговорил Коваленко и принялся искать по комнате свою фуражку, хотя ей, повидимому, и затеряться-то было некуда в этой пустой комнате, с одним столом и голыми нарами. Но она все-таки ухитрилась у него забраться в самый угол, под нары.

— Нет, уж видно, эту пташку без меня не уймете! — сказал граф, вставая. — А вы, Коваленко, лучше отправьтесь к «братам»... Они будут ждать меня к пяти часам. Передайте это

прошение генетихским хуторянам, да пусть они завтра же подадут его в губернское по крестьянским делам присутствие...

И все трое двинулись к дверям.

— Граф, — окликнул Булгаков, — захватите мне к стати какую-нибудь просветительную книжонку для «начинающих».

— Что за чудеса! Каким это образом вы снизошли до пропаганды? — воскликнул граф.

— Никогда не был просветителем, а тут «особь статья», дело капитальное.

— Какую же вам требуется?

— Все равно, что-нибудь почувствительнее, это для одной кисейной барышни.

— Еще и для «барышни»! Да тут целый роман! Так я вам «Парижскую коммуны» притащу, — сказал граф. — Там очень рельефно изображены страдания побежденного народа...

— И в самом деле! Это хоть кого проберет! Тащите ее! — обрадовался Булгаков.

Стрижевский вышел вслед за графом, сердито натянув козырек своей кожаной фуражки до самого носа.

— Ну, и отличились, словно ребята малые! — злобно рявкнул он уже в сенях.

Вслед затем фигуры их всех мелькнули мимо окон.

— Вот, этот уж не Щегленок, а настоящий Ерш, — усмехнулся Булгаков, показывая на Стрижевского.

— Завзятый бес. Наверно, сын самого Вельзевула! — сострил Дрозденко. — А с такого скорый прок будет!

— Он у них там в гимназии главный воротила, хотя сам уж в прошлом году кончил гимназию, — поясняла Саша, — готовится теперь поступить в Медицинскую академию...

— Добрый рубака будет, — заметил Дрозденко.

— Граф говорит, — продолжала Саша, — что он хотя и злой, но хороший человек и стоит двух добрых. Но я этого не понимаю: мне кажется, если не добрый, то как же он может быть хорошим человеком? А если хороший, то, значит, он только с виду злой, а в сущности должен быть добрым.

— Барышня-то с хвилософией, — подтрунил Дрозденко. — Ну, а це ваш дядя Пава, якый, по-вашему, человек выходит?

— О, конечно, хороший! — горячо вступилась девушка, как бы предвидя, что сейчас посыпятся обвинения. — Разумеется, не хорошо, что пьет... но он всегда готов сделать для других все, что может...

Между тем великан, лежавший до сих пор неподвижно, как колода, и испускавший только сильные носовые звуки, — вдруг перестал храпеть и грузно перевернулся на другой бок.

— Эко махинище, — заметил Дрозденко. — А что, он сильный человек, чи так тільки салом заплыл?

— Настоящий силач, — ответила она, — его и полиция не берет, и жулики не трогают более. Все знают, боятся и подступить. Раз городовым удалось принести его в полицию совсем пьяного. Он там немножко проспался, да и высидил трое дверей... так и ушел в ту же ночь...

Другой раз как-то жулики втроем напали на него ночью: «Снимай, говорят, пальто!» А дядя Пава растопырил руки: «Ну, говорит, делать нечего, вас трое, а я один, — тащите!» Один стащил правый рукав, а он этой освободившейся рукой как хватит в ухо третьего, даже не крикнул, так и покатился... Остальных же двух он схватил за шивороты, развел в разные стороны, да так и привел к самой полиции: «Ну, говорит, счастлив ваш бог, что я там вчера все стекла перебил, мне теперь самому туда показаться нельзя. А потому, чтобы нам вперед не ссориться, идемте пить мировую! Да и пошли все втроем в Красный кабачок.

— А что же с тем было, которого он ударил? — любопытствовал Булгаков.

— Да они говорят, что целую неделю ходил с разбитой щекой, а двух зубов и поныне не хватает... Еще хорошо, что ударил ладонью!..

— Так добре... А все ж таки лучше бы шел в батраки, чем в интеллигентной шкуре жить, — заключил Дрозденко. — А мне пора итти квартиру шукать... бо скоро и ночь на дворе...

— Да и мне время родителей проводить, — ответил Булгаков, вставая. — Ишь, мы в самом деле все чаюем, а и день прошел. Пожалуй, уж более четырех часов.

— Так двинемся вместе.

— Прощайте, хозяйюшка!

Оба пожали руку Саше и вышли.

ОНА ЯВИЛАСЬ

Явилась ты: как птичка к свету,
Рвалась к тебе душа моя!
Волшебной прелести привету
Невольно покорялся я!..

Дрозденко с Булгаковым скоро разошлись. Первый пошел по слободским трущобам «шукать хатину», а второй выбрался на главные улицы города и, — было ли это следствие пустоты в желудке, в котором легкая закуска с утренним чаем давно уже переварилась и опростала место для более основательной закладки фундамента, или он чувствовал себя не в духе, — но все виденное не особенно ему нравилось.

«Коллекция не особенная, — думалось ему, и лишь на одном образе Саши мысль его оставалась с удовольствием. — Девочка хорошая, — решил он, — да и эта пьяная шука, кажется, ничего себе... Как это он мне ответил: «жить, как хочется, нельзя!..» да и метко указал причину: действительно нельзя! Тут виден свой ум: пьян, да умен, — два угодья в нем»...

— Коля, куда идешь? Садись! — раздался голос Зинаиды позади его, и ее кучер круто оса-

дил лошадей, поравнявшись с Булгаковым. — Ну, скорее!

Булгаков вскочил в фаэтон, и лошади пустились рысью.

— Едем обедать, — сказала Зинаида.

— Обедать, — машинально повторил Булгаков, пощупав живот. — Да, кажется, я еще не обедал.

— Ну, когда мы тебя приручим? — и Зинаида поднесла к его губам свою пухленькую ручку, отвернув на половину лайковую перчатку.

— Да ведь здесь мужа нет, так зачем я тебя буду целовать, — сказал Булгаков, отводя ее руку в сторону.

— Разве ты только на зло мужу целуешь? Я думала, что у тебя есть и братское чувство.

— Чувство-то есть, да оно не обязано выказываться внешним проявлением по принятой формуле, а если и скажется, то не так.

Зинаида почти совершенно не знала внутренней физиономии своего брата. Их отношения были, правда, дружественны, но ограничивались одной внешней, так сказать, формально-родственной стороной. Сближения и откровенности между ними не существовало. Изредка навещая сестру в институте с матерью, он оставался для нее только «милым мальчиком», объектом, приносящим коробки конфет. Окончив институт, она сейчас же вышла замуж и уехала в провинцию, а Николай оставался жить в Петербурге с матерью до окончания гимназии, когда поступил в Технологический институт; затем перешел в университет и начал жить

самостоятельно, так как в это время мать, соскучившись по дочери, нашла возможность оставить его одного и уехать из столицы. В последние три года университетской жизни Булгаков хотя и навещал «милых родителей», но его характер и взгляды так разошлись с понятиями и образом жизни этих родителей, что он ясно видел невозможность быть понятым ими и оставался чужим в своей семье. «Отрезанный ломоть» — решил он в глубине души и никогда не пытался развить перед ними свои идеи, предоставляя окружающим только догадываться о своем образе мыслей, в той мере, в какой каждому позволяют его способности. Он видел, что Зинаида никогда не поймет его и не откликнется сочувственно на его задушевные стремления. И потому он инстинктивно прятал их глубоко в себе, а на все ее попытки познакомиться с его «настоящими» взглядами или отшучивался, или отвечал самыми общими положениями.

Теперь Зинаиде снова захотелось вызвать брата на откровенность.

— Скажи, пожалуйста, Коля, неужели ты в самом деле уже совсем бросил университет и не будешь кончать курса? — спросила она.

— Да, я уже давно, собственно говоря, закончил со всеми университетами и только числился для «звания», а посещал их только для схода, то есть, это в роде того, как ваши мужья посещают клубы...

— Что ж ты думаешь теперь делать?

— Решительно ничего в том смысле, в каком ты это спрашиваешь, то есть я не думаю нигде

служить и никакого рода профессиональных занятий не ищу.

— Чем же ты будешь жить?.. Нельзя же так всю жизнь...

— Чем случится. Сегодня уроками, завтра буду воду возить, или буду работать на кузнице, или в конторе нотариуса, судя по обстоятельствам. Я об этом даже не думаю... А жизнь моя будет очень непродолжительна: живо засадят в тюрьму...

— О чем же ты теперь думаешь?

— Это, Зина, длинно рассказывать, и если бы ты хотела серьезно узнать, то надо прежде всего почитать кое-что. Но у тебя на это не хватит ни охоты, ни времени... Да и Иван Егорович не позволит тебе читать такие книжки...

— Нет, ты напрасно так думаешь. Мне бы хотелось познакомиться с вашим учением и с тем, что так интересует тебя. Ты бы принес мне «свои книжки», если уж не хочешь говорить!

— Тпр-р-у! — раздалось с козел.

Экипаж остановился у крытого подъезда большого дома.

— Ты куда же меня привезла? — спросил Булгаков, глядя на незнакомое здание. — А я думал, что мы едем к тебе...

— Вставай и звони скорее! Это дом Платона Матвеевича. И Андрей с Полиной Егоровной сегодня здесь обедают.

В эту минуту сам Григораш вышел на подъезд.

— Стол накрыт, и мы ждем только вас, — радушно проговорил он. — Где же Иван Егоро-

вич? А, вы и этого бегуна привезли, — от- лично... Натичка, вот и тебе кавалер есть, веди его прямо за стол!

Все поднялись по роскошной лестнице в зал. За обедом Ната сидела рядом с Булгаковым. Но он мало обращал на нее внимания, ел много и был серьезнее обыкновенного. Ната старалась быть внимательнее к своему кавалеру и каждую минуту смотрела на него.

— Хотите вина? — спросила она, взявшись за бутылку.

— Хочу, — ответил тот.

Она налила в стакан, минуя рюмку, и долила до самого края. Булгаков поблагодарил глазами.

— Вот в наше время молодежь ухаживала за барышнями, а нынче так барышни ухаживают за кавалерами! — произнес Григораш, выразительно взглянув на дочь.

Булгаков понял этот взгляд, предостерегающий дочь, что ее внимание к гостю переходит границы, в каких ей следует держать себя по отношению к нему. И он ответил:

— Ничто не вечно под луною: нравы и обы- чай так же изменяются, как и все в общем ходе прогресса, который идет своей дорогой, не ожидая отсталых.

— Да, мой друг, нравы меняются, только — как немцы говорят — не все то хорошо, что ново. Прежде молодежь, если и не особенно прилежно училась, зато рвалась на службу так, что нельзя было удержать дома, а теперь не хотят ни учиться, ни служить. Вот ты, например, почему ты нигде не служишь?

— «Служить бы рад, прислуживаться тошно».

— Э, будто бы так уж и непременно надо прислуживаться! И твой отец и я служили же...

— Оставляя в стороне отца — сыну не го- дится быть судьей своего отца, — скажу, что вы однакоже бросили службу и вышли в от- ставку.

— Ну, это так случилось, потому что я за- нялся другим делом...

— То есть вы предпочли более независимый труд... другими словами: труд без прислужи- вания.

— Так и ты бы, если не хочешь служить, занялся бы каким-нибудь делом... А то нельзя же все так жить на счет мама.

— Откуда же вы взяли, что я живу на счет мама? Вы, кажется, не вели моих прихода-рас- ходных книг. Я уже два года живу на свои средства.

— Ну, может быть, ты имеешь уроки... но ведь нельзя же так всю жизнь... а дальше как? Надо иметь что-нибудь определенное.

— Я имею голову и руки — это совершенно определенное, и надеюсь с этим всегда добыть себе кусок хлеба.

— Пока один, положим, еще как-нибудь с грехом пополам, а когда женишься, надо со- держать жену.

— «Не женися, молодец, слушайся меня», — продекламировал Булгаков.

— Ах, папа, — живо подхватила Ната, — ви- дишь, я тебе говорила, что не все только ду- мают о том, чтобы выйти замуж или жениться! Булгаков видел, что симпатии Наты, для ко-

торой он собственно и вел этот по его мнению «дурацкий диспут», решительно на его стороне. Между ними происходило сближение без слов. Как во время разговора, так и после обеда, они угадывали друг друга по нескольким словам, часто по одному взгляду, и постоянно следили друг за другом. В гостиной, когда подали глинтвейн, она взяла с подноса большую, резко отличавшуюся от прочих своей роскошной отделкой фарфоровую чашку и сама подала ее Булгакову. Себе же поставила миниатюрную японскую чашечку.

— Это что означает? — спросил Булгаков, рассматривая изящную живопись и вензель Н. П. Г.

— Это моя шоколадная чашка, но я не могу выпить столько глинтвейну, а вы можете.

— Бонжур за внимание; но я право боюсь, что у меня уже и без того нос покраснел: так вы меня наспиртуозили!

— О, напротив, на вас совсем незаметно.

Они сидели в нише окна, отделившись от остальной публики, разместившейся в покойных креслах вокруг диванного стола.

— Если бы я даже уничтожил весь ваш буфет, и тогда бы не было заметно, — улыбнулся Булгаков, — я никогда не пьянею... Но это все пустяки, — прибавил он, — отодвинув по мраморному подоконнику свою чашку, как бы относя последнюю фразу и к глинтвейну, и к предыдущему разговору вместе. Он несколько минут пристально смотрел в глаза собеседницы. Она не смущалась, и ее глаза доверчиво со вниманием глядели на него.



МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА ЛЕНЦИ

1875 г.

— Хотите знать все? — спросил он.

— Да! — тихо отвечала она, опуская длинные ресницы, — ведь я только на вас и надеюсь, мне не к кому больше обратиться...

«Рубикон перейден» — подумал Булгаков.

— Так будем друзьями! — сказал он вслух, протягивая руку.

Она положила в нее свою маленькую ручку, и он крепко пожал ее. Затем он несколько помолчал, как бы собираясь с мыслями.

Платон Матвеевич, зорко следивший за дочерью из другого угла комнаты, видел это рукопожатие и объяснил его по-своему: «Должно быть пари держат» — решил он, но все же был не совсем доволен, что его Наточка слишком много занята своим гостем.

Булгаков начал говорить сдержанно, вполголоса. Ему удалось затронуть ее доброе сердце картиною нищеты и бедствия внизу и несправедливости, царящей наверху. Удалось заинтересовать ее пытливый умок трогательным изображением полного преобразования этого «несправедливого» строя в новый мир свободы и правды. Хотя самый переход старого общества к идеальному строю и средства, которыми можно достигнуть этого, выходили у него довольно туманны и сбивчивы, — то казалось надо было быть апостолами правды, распинаемыми на кресте, то оказывалось, что следовало употреблять динамит и митральезы, — но тем не менее, глазки Наты заблестали и все личико так оживилось благородным порывом жить для пользы других, что оно в эти минуты казалось даже очень красивым.

Когда во время их разговора несколько раз подходил Григораш или кто-нибудь другой, то Булгаков, не сморгнув глазом и не переменяя тона, вдруг перескакивал с объяснения брошюры Лассалья «Об идее рабочего класса» к описанию какого-нибудь патетического места из той или другой оперы или рассказывал эпизод из хроники петербургского яхт-клуба. А когда незванный слушатель отходил, то, проводив его насмешливой улыбкой, Булгаков снова возвращался к прерванному на полуслове объяснению серьезных вопросов добра и общественной справедливости.

— Зачем вы все это скрываете? Разве истину не надо говорить открыто, чтобы все слышали? И неужели вы думаете, что папа или кто-нибудь из здесь присутствующих выдадут нас полиции? — наивно спросила она.

— Такое зерно надо сеять в добрую почву, а на них, — он показал глазами на выложенную публику, — лежит печать небесного проклятья... Да, кроме того, пока «нас» мало, — «будем мудры, как змии». Это правило признавал даже сам основоположник христианства.

На прощаньи Ната взяла слово с Булгакова, что он принесет ей на следующий раз книжку, запрещенную правительством, а ему дала слово, что она не покажет этой книжки папе и будет читать ее по секрету. Они расстались, как старые друзья.

Ночевать в этот день Булгаков не попал в свое восемнадцатое столетие: его захватил брат Андрей. И Николай спал у него в кабинете.

— Можешь располагать всегда этим моим кабинетом, как собственным, — сказал Андрей, кладя на мягкую кушетку подушку и одеяло, вынесенные им из спальни. Из того, что их вынес сам брат, Булгаков сейчас же догадался, что Полина Егоровна не хочет лично выказать ему ни малейшего гостеприимства. Поэтому он ответил брату:

— Твой кабинет единственный уголок во всем твоём доме, который принадлежит исключительно тебе, и потому я могу принять его от тебя; но подушка и одеяло как вещи, зашедшие из других, так сказать, союзных апартаментов, являются здесь лишнею роскошью. У меня есть пальто, и этого довольно: ведь я всю жизнь на походе и не страдаю бессонницей.

Однако, он на этот раз и с насильно оставленной братом подушкой в головах долго ворочался с боку на бок и не мог уснуть. Впечатления дня, начавшегося покражей белья, пестроты «толкучки», аскетическая нищета квартиры графа и этой «толкучки» и роскошь платья дам и обеда у Григораша — все это разнообразие впечатлений, беспорядочно толпилось, воскресая в его голове. И над всем этим постоянно рисовались два женских образа: одна — бойкая, самостоятельная, все берущая с боя, всегда настороже, с несколько недоверчивым отношением к незнакомым лицам и умеющая отстоять себя — Саша; а другая, скромная, робко-пытливая и наивно доверчивая, с детски простодушным личиком — Ната.

Но вот он увидел, как маленькое личико этой Наты мало-по-малу приняло форму боль-

шой фарфоровой чашки с вензелем Н. П. Г., затем вензель и живопись исчезли со стенок чашки, и вместо них растут все крупнее и крупнее гигантские цифры: 200 000. И вдруг чашка лопається вдребезги, каждый ее осколок превращается в маленький нулик и все эти нули с громким хохотом катятся в разные стороны...

«Держите, держите! — кричит он, стараясь догнать их, и вот в середине одного нуля появляется серьезное личико Саши, сурово блещут ее большие серые глаза, и она медленно целит во что-то из револьвера... — Не тяните, не тяните за собачку» — хочет крикнуть Булгаков. Он метнулся вперед, чтоб схватить ее за руку, и, ударившись лбом о ручку кушетки, открыл глаза... Притушенная лампа с зеленым колпаком слабо освещала ряд безделушек, симметрично расставленных по письменному столу.

«Что за чертовщина! Никогда снов не вижу, а тут сразу такая галиматья, что хоть роман пиши!» Ему захотелось курить, а так как табаку в наличности не оказалось, то, порывшись в карманах, он вынул связку отмычек, употребляемых слесарями для вскрытия замков, когда потерял ключ. Выбрав надлежащей величины, он открыл ею один из ящичков конторки. Ящик оказался наполненным папиросами. Булгаков взял десять штук, оторвал клочок бумаги и, написав: «взято в качестве тайного займа 10 штук. Николай Булгаков», — бросил это заемное письмо в ящик и снова замкнул его своим инструментом.

Спать ему решительно не хотелось, а потому он, переменяв отмычку, добрался до библиотеки брата, помещавшейся в большом шкафу с стеклянными дверцами, и, достав «Капитал» Маркса, принялся за вычисление истинной стоимости своего сюртука, бросая по временам пытливый взгляд на щель ставни в ожидании рассвета.

Разумеется, почтенные домочадцы, имевшие обыкновение не особенно рано начинать свой день, не досчитались утром за чайным столом своего ночного гостя.

— Паныч изволили уйти еще в шестом часу, — доложил слуга, скидывая с большим усилием громадный самовар на круглый медный таз посреди круглого стола.

А «паныч» в это время не без усилия, но стараясь не выказать большого напряжения, снимал у знакомой нам кузницы с извозчика свой тяжелый чемодан, туго набитый шрифтом, и мысленно проклинал все большие дворы, потому что не прошел и половины расстояния от кузни до «жильців» как почувствовал, что его пальцы совершенно онемели.

Саша встретила его в сенях и с веселой улыбкой поздоровалась.

— Вот вам и презент, — сказал Булгаков, подавая ей маленький револьвер, взятый им у брата Андрея.

— Ах, какой миленький!

— И миленький, и маленький, но с сильным боем. Это американской системы, и хотя пулька немного более нулевой дроби, а за тридцать шагов пробивает дюймовую доску на вылет. Имя

такую штучку в кармане, вы, конечно, везде будете чувствовать себя смелее... но запомните, барыня, хорошенько, что пускать ее в дело нужно только в самой последней крайности... чтобы не пришлось каяться в поспешности... Неиспорченная совесть возмущается таким средством и не допускает даже отстаивать этим свое имущество при открытом грабеже. И только защита чести да свободы безусловно гарантирует нас в этом случае от тяжелых последствий раскаяния...

— Я буду всегда помнить ваш совет, — с чувством сказала девушка, пожимая ему руку, — и очень вам благодарна как за него, так и за подарок.

— Ну-с, а ваше «Воистину воскресе» все еще в кармане? — спросил молодой человек, не выпуская ее руки.

Девушка торопливо посмотрела на свой карман, но убедившись, что на этот раз все в порядке, вопросительно подняла глаза на собеседника. Тот смеялся и совсем приблизил к ней свое красивое лицо.

— Ах, вы вот о чем! — догадалась девушка с легкой нерешимостью в голосе, и, зарумянившись, опустила на секунду свои длинные ресницы, как бы что-то обдумывая. — Ну, хорошо! — вдруг произнесла она и быстрым движением, обняв его шею обеими руками, горячо поцеловала его в губы, и затем так же быстро оттолкнула от себя.

— Bravo, Булгаков! — произнес сзади граф, появляясь из комнаты в дверях. — А только вчера явился, — вот что говорится: увидел и победил!

— И притом как истый рыцарь: вооружив предварительно своего противника, — отпущен Булгаков, указывая на револьвер, который Саша все еще держала в руках.

— Нечего зубы-то заговаривать!.. и вы тоже, сударыня, хороша! Ишь скромница какая, все, извольте видеть, жалуется, что к ней лезут с поцелуями, а сама чем занимается?

— Что ж такое? Кого хочу, того и поцелую, а кого не хочу, — те пусть не лезут!

— Что, много взяли? — подтрунил Булгаков.

— Где уж с ней справиться! — махнул рукою граф. — Кроме своего «хочу» никаких властей не признает.

— Куда же вы пробираетесь, ворочайтесь в хату, — сказал Булгаков, видя, что его товарищ собирается выйти из сеней.

— Нет, спешу в редакцию, и то опоздал.

— Так прихватите с собой и лошадиные ноги, — ответил Булгаков, высыпая из портмоне серебряные монеты на извозчика.

— Это, пожалуй, кстати. До свидания. И не повторяйте слишком часто электрических сеансов.

— Не извольте беспокоиться, — усмехнулся Булгаков. — В самую пропорцию.

Саша выбежала на двор еще раньше графа. И гость, войдя в комнату, нашел там только великана дядю Паву в том же полушубке и в той же мертвецкой позе, в какой оставили его накануне, только на ногах вместо шегольских лакированных ботинок были теперь неуклюжие продранные сапоги. Тут же и Дрозденко, примостившись к его подушке, голова

к голове, а ногами врозь, крепко спал, наполняя всю комнату дегтярным запахом своих чоботов.

Очутившись в обществе сонных тел, наш герой невольно почувствовал, что и сам не доспал в эту ночь, а потому, пройдя раза два по комнате, тоже растянулся на нарах, заложив обе руки под голову, и уже начал было дремать, когда вернулась Саша с большим жестяным чайником в руках, из носка которого дымчатой струйкой выходил пар.

— Это вам где бог послал? — спросил он, раскрыв свои слипавшиеся веки.

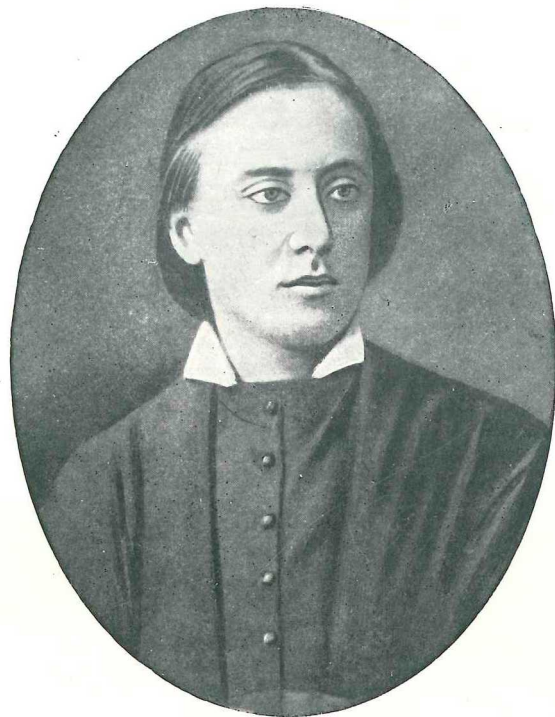
— В кузнице, у хозяина... чтобы не ставить самовара; там на горне живо, в десять минут закипает... Да проснитесь, — у! — какой кислый!.. Сейчас заварю, и будем пить, — прибавила она, поставив чайник на стол и на минуту исчезнув в свою комнату. Затем вынесла распечатанную пачку чая и отсыпала из нее в чайник.

— Ну, чай готов, будите этого кота в сапогах, а дядю Паву не нужно трогать, только в четыре часа ночи изволил притти.

Булгаков свернул кусочек бумажки в тоненькую трубочку и стал щекотать ею ноздри спящего. Тот уморительно морщился, отворачивая нос во все стороны, и, наконец, сильно чихнул при громком смехе Саши.

— Ах щоб вас! — произнес он, раскрывая глаза.

— Вот видите, своим-то домком жить много спокойнее, — заметил Булгаков, — а то здесь как на базаре. Будят, когда захотят. Нашли вы вчера квартиру?



АННА АЛЕКСЕЕВНА АЛЕКСЕЕВА
в Херсонской тюрьме
1879 г.

— И очень подходящую, только нужны ре-
дипии, требуют деньги вперед за месяц.

— Натурально, без оных не обойдется. А вот
и типография, — указал Булгаков на свой че-
модан, — только сброд всех калибров... разборка
будет кропотлива.

— Как-нибудь понемножку, — ответил Дроз-
денко, принимая стакан из рук хозяйки. — И
учера чай, и сегодня... Чи воно ж таки можно
одним чаем жить? Полощать кышки, тай годи.
А міні істы хочется, аж шкура болыть: дайте
хочь хліба до чаю.

— О, бедненький! Не хотите ли пирожка
с говядиной? — спросила Саша.

— Ни, не хочу, дайте тільки хлібца кусочек.
Девушка выбежала в кухню.

— А какого вам, белого или черного? — раз-
дался оттуда ее звонкий голосок.

— Та воно ж таки все одно: що білий, що
чорный, дайте білого.

— Хорошо, что все равно, — сказала хо-
зяйка, возвращаясь из кухни, — потому что
кромѣ этой ржаной краюшки, которая к тому
же порядочно высохла, ничего нет.

— Эх, кабы був царем, — усе б іл сало! —
вздыхнул Дрозденко.

В этот момент великан вдруг перестал изда-
вать богатырский храп, грузно перевернулся на
другой бок и, лениво приподняв тяжелые веки,
обвел мутным взглядом присутствующих. Его
взгляд остановился на Булгакове.

— Вот замечательная вещь, — произнес он,
протирая глаза, — как только напьюсь, непре-
менно новую личность узрю.

— В чердаке-то небось трещит? — спросил его, улынувшись, Булгаков.

— Трещит! — добродушно ответил тот. — Саша! Благодетельная фея! Омочи перст и влей в мои уста каплю влаги: нутро горит, а во рту эскадрон ночевал.

— А видели меня вы и раньше, — заметил Булгаков, — я даже имел счастье беседовать с вами, только вы находились в сфере невмешательства.

— Что же это вы? Лучшего занятия как пьянство так-таки никогда и не находите? — едко спросил Дрозденко дядю Паву.

— Вы верно господин семинарист? — вскользя бросил он, не отвечая на вопрос.

— Да-с, семинарист, так что ж из того? — задорно ответил Дрозденко.

— Так! Я проверяю впечатления, — равнодушно произнес великан, распутывая обеими руками сбившиеся в стог волосы. — Вы, пожалуйста, извините: я только как художник отмечаю типы.

— Сделайте одолжение! Тем более, что и художники часто носят свой особый отпечаток смутного похмелья на челе.

Великан ответил широкой добродушной улыбкой.

— Ну, будет: помиримтесь, — сказал он, вставая во весь рост, и протянул руку.

Дрозденко сейчас же приятельски пожал ее.

— У вас не принято говорить фамилий, поэтому не спрашиваю, — обратился он к Булгакову, пожимая руку.

— Все равно, как ни называть! Зовите по

кликче: «Ревизор»... Но вот Дрозденко сделал вам вопрос, который интересует и других...

— Знаю! Ну, так я вам отвечу, господа, обоим: много есть «лучших» занятий, но я пью, чтоб не заниматься «худшими».

— К чему же такое убожество: зачем ограничиваться одним избеганием «худшего», вместо того, чтобы поискать «лучшего»? — Вот-с, например, скажем так: я бы мог жить роскошно в Питере, рисуя, положим, картины. Многие стремятся к этому, как к «лучшему», но я пью, чтобы избежать этого «лучшего», которое считаю «худшим»... Я мог бы иметь кафедру. Многие ищут этого, как «лучшего», но я пью, считая профессуру «худшим» при существующем порядке. Пьянствуя с жуликами в кабаке, я по крайней мере не поддерживаю учено-бюрократического уряда, составляющего крупное колесо того общественного механизма, над разрушением которого вы работаете с таким самоотвержением...

— О, милая! — вдруг воскликнул он, увидя Сашу с двумя бутылками сельтерской воды. Он принял из ее рук одну бутылку, пустил пробку в потолок и, запрокинув голову, с жадностью стал лить себе в рот пенящуюся влагу прямо из горлышка.

— Спасибо, сердце мое! — сказал он ей, опорожнив бутылку. И обняв стройный стан девушки, привлек ее к себе. — Поцеловал бы тебя, да из меня теперь воняет, как из бочки, а ты этого не любишь!

— Не люблю, и тебя не буду любить, если не бросишь пить! — ответила она недовольно.

— Ну, это ты, положим, врешь, душа моя! — сказал он, потрепав ее по плечу своей громадной ручищей. — Хочешь, мы заключим такой договор: я тогда брошу пить, когда ты сочтешься законным браком, — идет, что ли?

— По какому же это расчету? — спросил Булгаков. — Разве у нее так много шансов?..

— Да кто же ее, бесприданницу-то, возьмет за себя? Из путных людей никто, а из вашей братии никто и не думает жениться, ну, срок-то платы и получается довольно растяжимый...

— Так она возьмет, да за вас же и выйдет! — сказал Дрозденко.

— А ведь и в самом деле можно, — засмеялся великан. — Вот, например, в таком виде как вчера был, не то что на ней, пожалуй, с козой обвенчают, а я и глазом не моргну!

— Вы только что привели два примера, — сказал Булгаков, возвращаясь к прерванному разговору, — указывающие, если не ошибаюсь, что при существующем порядке некуда применить свои силы...

— Да, «господин художник» именно эту тривиальную тенденцию проводил, — резко перебил Дрозденко: — не понимаю только, зачем так эффектно ее иллюстрировать! Дилемма простая: нельзя созидать, работайте над разрушением!

— Оканчивайте фразу: стены лбом!! — вставил великан.

— Вы полагаете, что у нас нет сил бороться?

— Не вижу-с их! Правительство, это — хорошо организованная общественная сила; кроме

пушек, штыков и всего прочего, оно имеет за себя плюс: традиционные верования. Ну-с, а кто за вас? За вас никого! История противопоставляла королям европейских государств феодальную аристократию как сдерживающую силу и затем буржуазию как положительное ограничение их власти. Нужды нет, что в вековых фазах борьбы она помогла сначала королям одолеть феодалов! У нас феодальная аристократии нет, и даже Екатерина не сумела создать ее. А наша буржуазия — это ли не оппозиция?! Остается горсть адвокатов, литераторов, врачей и пять-шесть профессоров!

— Их не так мало, — возразил Булгаков. — общественное мнение и у нас есть сила, с которой правительству приходится считаться: «идеи ведь на штыки не уловляются» — говорит Лассаль.

— Да, — ответил великан, — он это сказал, но, с другой стороны, не было еще примера, чтобы штыки ломались об идеи.

— За нас и с нами народ! — вскрикнул Дрозденко, выразительно стукнув по столу.

Дядя Пава грустно покачал головой.

— «Народ!» — повторил он. — Мы стоим перед хорошо вооруженной крепостью с голыми руками, а в нас жарят картечью из орудий... Там есть митральезы, и круповские, и Пибоди и Мартыни и чего, чего только нет!.. Вот вы и говорите мне: вперед! за нами стомиллионная армия народа! А я вижу, что этот стомиллионный арьергард отстал на целое столетие от своего авангарда, и пока мы будем штурмовать крепость лбами, нас будут бить на выбор, как

поросят к Рождеству, и приготовят из нас бифштекс гораздо ранее, чем подспеют главные силы.

— Недурно, — сказал Булгаков, — художник, как художник: сейчас и картинка готова! Только тени немножко гуще, чем следует. Что же, по-вашему, делать-то?

— А ничего и не делать! Сидеть под кустиком, чтобы какая-нибудь шальная пуля не задела... Сиди, себе, да трубочку покуривай!.. А то можно и на солнышке кверху брюхом поспать, у кого нервы покрепче; не беда, что пули свищут...

— Ну и сидите! И курите! — вышел из себя Дрозденко и даже сплюнул с досады, причем угораздил попасть на носок собственного сапожника...

— Да и покурим! — полушутя ответил великан, вытаскивая серебряный порт-табак, и действительно стал вертеть папироску. — Благо табачница еще в кармане завалялась!

Тут Саша, которая все время молча, но с напряженным вниманием следила за доводами обеих сторон, вдруг бросилась к дверям с криком:

— Аня! Аня!

«Так вот она Аня, — подумал Булгаков, — посмотрим!..»

Саша между тем уж обнимала сестру, згоявшую в дверях с маленьким узелком подмышкой.

То была стройная шатенка, среднего роста, с темнокаштановыми волосами, распущенными по плечам, которые густыми волнами ниспа-

дали за спиной ниже пояса. Ее роскошный бюст и тонкая талия, ее красивые правильные руки с маленькими изящными пальчиками; каждое ее движение, каждый жест носили столько прелести и природной грации, что невозможно было только смотреть на эту дивную гармонию форм, а не любоваться ими. Она точно обдавала всех своим неотразимым обаянием. Булгаков сразу почувствовал, что всю его душу так и потянуло к ней. «Что за чертовщина! — подумал он, нарочно отводя глаза в сторону, чтобы освободиться от ее волшебного обаяния. — Никогда ничего подобного не ощущал! Нет ли у нее там в пазухе приворотного зелья какого?.. А какие у нее глаза?» — пришло ему в голову. Он снова взглянул на нее, когда Саша уже подвела сестру к столу и отрекомендовала сидевшим.

— О, я давно вас знаю и давно считаю старым знакомым, — с улыбкой сказала она Булгакову, подавая ему руку. И это прикосновение ее нежной матовой ручки пробежало по нем электрическим током. И все-таки Булгаков не мог определить, какие у нее глаза, и это заставляло его снова и снова взглядывать в прекрасное лицо незнакомки... Он мог только запомнить, что в ее глазах много доброты, что они просто какие-то светлые, лучезарные... да, именно, л у ч е з а р н ы е, а иногда отливают какой-то прозрачной синевой, и все казалось, что вот сейчас в этой синеве, как в зеркальной поверхности, отражаются все помыслы, все движения ее души...

Булгакову даже стало досадно от непривычного чувства, которое так внезапно овладело

им... И главное это чувство ему почему-то казалось обидным для Наты.

— Я не удивлюсь, — сказал он вслух, — если вы найдете меня не совсем таким, каким вам изобразил меня мой приятель — идеализатор...

— Нет, напротив, я таким вас и представляла себе... Да, именно таким, — подтвердила она, — даже странно: контур ваших глаз и линия лба мне рисовались с такой поразительной ясностью, как будто я видела ваш портрет.

«Всею взяла! — подумал Булгаков, — и красива, и стройна, и еще что-то есть особенное... это то, что разлито во всем ее существе и сосредоточено в прозрачной глубине ее больших глаз, которые так красиво обрамлены дугою темных бровей. Что же это такое?»

— У меня к вам и письмо есть!.. и к вам, дядя!.. ну, а уж к вам-то пока ничего нет!.. — приветливо кивнула она Дрозденко.

— Не жду! — отрезал он, отвечая на рукопожатие.

— Фу, как я устала! — И Аня присела у стола рядом с Булгаковым. — Постойте, господа, сейчас достану.

Она принялась растегивать пуговицы на груди, и, слегка отвернувшись, запустила руку за корсаж и вынула оттуда кучу маленьких записочек и стала их разбирать.

— Это вам, а вот и вам, дядя, от профессора Долгомарова, хотя вы по обыкновению на похмельи! — сказала она, взглянув на его кожух и в то же время отправляя остальные записки под лиф. — Зеленева, — продолжала она, — арестовали в Елисаветграде с чемоданом книг.



А. А. АЛЕКСЕЕВА
1931 г.

Такая неосторожность! не обвязать даже веревкой! Носильщик уронил, чемодан раскрылся, оборвав застежку, и книжки рассыпались по всему дебаркадеру... А Ивецкого провезли из Одессы с этапной партией в Вологду, и Паша вместе с ним, то есть следует добровольно за этапом. Я ее встретила на вокзале, с нею и побралась к нему в пересыльный. В Киеве тоже аресты... Впрочем, это вы уже знаете. — Она взглянула на Булгакова. — Но ваша пассия благополучно избежала западни и скоро будет сюда с народниками.

— Не понимаю, кого вы имеете в виду.

— И ваше сердце ничего не говорит?

— Нет.

— Да есть ли у вас оно? — И Аня шутливо прижала свою ручку к его скюртуку. Булгакову хотелось, чтобы она подольше не отнимала своей руки, и вместе с тем было досадно...

— Ам! — воскликнул он вдруг, неожиданно ляснув на нее зубами, как пугают детей.

— Ах! — вскрикнула Аня, отдернув руку и откидываясь назад.

Все рассмеялись.

— Что ж, вы, барышня, прикоснулись к самому жаркому месту в его теле: вот и обожглись, — заметил Дрозденко.

— Ишь какой он, — сказала Аня шутливо капризным тоном, — точно с маленькой! Я не хочу так. Вот вам за это! — и она дернула его за чуб, однако быстро отодвинувшись.

«Так-то лучше: сиди-ка себе подальше, и тебе будет спокойнее, да и мне просторнее!» — подумал Булгаков.

— А мне все же интересно, кто сия избранница моего сердца? — сказал он вслух.

— Нечего притворяться! Вы думаете, мы не знаем? А ваша генеральская дочка, которую вы похитили из Петербурга? И надо отдать честь вашему вкусу! Она замечательно красива.

— Не отрицаю. Но вы ошибаетесь, — мне ее навязали в момент отъезда, чтобы разлучить ее с тятенькой да маменькой, а до тех пор я ее никогда не видел.

— Ну, а в дороге? — игриво спросила Аня, пристально посмотрев на Булгакова.

— А в дороге она казалась очень миленькой и развитой девушкой. Но мне кажется совсем не нашего поля ягода, слишком уж нежна, и физически, и душевно, такая хрупкая, что того и гляди сломится. Так и просится под стеклянный колпак.

— Еще бы не сломилась, если вы сожмете!.. Она говорила, что вы очень сильны. Покажите ваши мускулы.

— Они у меня назидательные. — Булгаков отстегнул запонку и не без удовольствия обнарил свою мощную руку, на которой каждый из мускулов, будто отлитый из бронзы, так и обрисовывался из-под туго обтягивавшей их кожи. А по мускулам словно канаты обвивались и переплетались тонкие жилы.

— Вот прелесть! Саша, посмотри, какая сила! — вскрикнула Аня, дотрагиваясь рукой до руки Булгакова.

— В самом деле, — сказал дядя Пава. — У меня в объеме рука, пожалуй, вдвое больше вашей, но рельефности такой еще отроду не

видывал. Вы неоцененный натурщик для картины, и в особенности для изваяния, например, статуи Геркулеса. Это вам вечный кусок хлеба, когда есть нечего будет. Идите прямо в академию, там вас примут с распростертыми объятиями.

— Как хорошо иметь такую силу, — с завистью сказала Саша.

— А попробуйте ушипнуть, — продолжал Булгаков.

Обе девушки делали тщетные усилия, но их пальцы только скользили по натянутой коже.

— Не могу! — сказала Аня, ударив слегка пальцем его по руке.

— Бейте кулаком и вдобавок со всей силы! — сказал Булгаков.

— Нет, зачем же, будет больно, — возразила Саша.

— Это еще увидим, кому будет больнее. Ну, начинайте!

Он плотно прижал руку к столу. А обе девушки принялись со смехом дубасить по ней своими кулачками.

— Сильнее, сильнее! — приговаривал Булгаков, весело улыбаясь.

— Но мне самой больно, — сказала, наконец, Аня, потирая свой кулак.

Саша била с увлечением молодости и даже кулаками, очевидно желая непременно пронять его.

— А я могу? — спросил Дрозденко, тоже прицелившись кулаком.

— Сделайте одолжение! — И Булгаков сильнее сжал кулак, мускулы вздулись еще выше.

Дрозденко размахнулся и ударил, другой, третий... Но его кулак отскакивал, словно от натянутой гуттаперчи.

— Неужели нисколько не больно? — спросил он.

— Ни капельки! — смеялся Булгаков.

— Завидная, чорт побери, мускулатура!

— Это «*extensor digitorum*» — каков же должен быть «*biceps*»! — сказал художник, с восхищением глядя на всю эту картину. — Показывайте «*biceps*»!

.

(На этом рукопись Ф. Н. Юрковского обрывается)¹

¹ На шлиссельбургском экземпляре имеется надпись, сделанная рукою Н. А. Морозова: «Здесь роман кончается по причине смерти автора, не вынесшего заключения».

ВОСПОМИНАНИЯ Ф. Н. ЮРКОВСКОГО и А. А. АЛЕКСЕЕВОЙ

(Юрковский — «Сашка-Инженер»
и «Аня» — Алексеева на конспира-
тивной работе)

Ф. Н. Юрковский

КАК Я УПРАЗДНИЛ ХЕРСОНСКОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО ¹

1. ПРЕДИСЛОВИЕ РЕДАКЦИИ «БЫЛОГО»

Воспоминания о подкопе в Херсоне принадлежат Федору Николаевичу Юрковскому, так называемому «инженеру Сашке»; — под этим именем он был известен в свое время в литературе и в обществе, — этим псевдонимом им самим в подлиннике подписана печатающаяся статья.

По своим взглядам Юрковский ближе всего подходил к набатовцам и был одним из первых защитников борьбы с правительством самыми крайними террористическими средствами, — он развивал эти взгляды и тогда, когда большинство выдвинувшихся впоследствии террористов еще стояли на почве пропаганды. Если не ошибаемся, Юрковский принимал личное участие в одном из самых ранних убийств шпионов (в Одессе).² По различным причинам Юрковский не вошел в организацию партии «Народной воли», но переговоры о его вступлении в партию велись перед самым его арестом в 1880 г.³

Печатающиеся воспоминания были написаны Юрковским в Шлиссельбургской крепости незадолго до его

¹ См. в приложениях: «Библиографическая справка к воспоминаниям Юрковского».

² См. там же: «Об убийстве шпиона Тавлесева».

³ См. там же: «Юрковский и народovolьцы».

смерти (он умер в 1896 г.) для ближайших товарищей по заключению, но были, повидимому, ответом на старые его споры на Каре в 1881—1883 гг.

Автор воспоминаний едва ли надеялся, что они когда-нибудь увидят свет, — они были им написаны, очевидно, не для печати, но он, конечно, знал, что внимательными читателями его воспоминаний будут деятели департамента полиции, и это, несомненно, отразилось на характере изложения.

Мы не внесли в рукопись никаких изменений и не сделали в ней никаких поправок, — печатаем ее как очень важный документ по истории русского революционного движения.

Редакция «Былого»

2. ВОСПОМИНАНИЯ Ф. Н. ЮРКОВСКОГО

Считаю нужным обратить внимание читателя, что я, задавшись целью изложить организационную сторону дела, буду развивать перед ним план действия и указывать систематическое выполнение, как результат деятельности всех, принимавших непосредственное участие в предприятии, и отнюдь не буду вести описания в лицах, распределяя им роли в рассказе по степени их действительного значения. Такая форма была бы крайне неудобна, помимо массы других соображений, уж потому, что степень участия некоторых вовсе не выяснена, а некоторые еще до сих пор находятся на свободе.¹

Делаю это предупреждение, чтобы читатели не вздумали искать в моем рассказе материала

¹ См. в приложениях: «Необнаруженные участники подкопа».

для оценки действий лиц, фигурировавших в деле: лица являются здесь лишь постольку, поскольку это нужно для выяснения и окраски того или другого обстоятельства, имевшего влияние на дальнейший ход событий, для определения того или другого решения, предпринятого всеми, а потому читатель может относиться критически лишь к общему ходу действий и только. Действующей единицей для него является сумма всех лиц, находящихся в организации.

В первый раз мысль о казначействе явилась у меня еще в 74 году, благодаря разговорам с Иваном Позульским,¹ когда я содержался в Николаевском морском остроге en quatre с Дробязгиным, Ковальским и Имшенецким. Тогда было еще золотое время повальной пропаганды, и, пропагандируя в остроге, мы сближались с этим арестантом; таким образом, вышло отчасти, что мы распропагандировали друг друга.

Вскоре после выхода на поруки мне пришлось занять место управляющего лесопильным заводом Банова в Херсоне. По делам завода у меня часто являлась надобность бывать в казначействе (за получкой мелкой серебряной монеты для расплаты с рабочими). Здесь мое внимание остановилось на странном способе хранения сумм в подвальной кладовой, причем вну-

¹ См. в приложениях: «К истории пропаганды среди штундистов».

три нет никакого присмотра, вся охрана ограничивается лишь одним часовым у дверей, как будто не допускается возможность проникнуть в подвал помимо дверей. Здесь же в голове моей составилась приблизительный план действия через подкоп; дело представилось в реально-осуществимом виде; я произвел измерение ширины улицы до дворов соседних квартир, составил приблизительную смету предварительных затрат, вычислил время, необходимое для производства работ, словом — мысль окончательно окрепла и вопрос стоял только за деньгами, — только за деньгами! Сколько этих «только» стояло в жизни. Фраза эта всегда напоминает мне письма одного приятеля: «Любезный друг! — пишет он, — дело о покупке имения почти состоялось, имение мне очень понравилось, дает хороший доход и с премиленьким садом вокруг дома (приезжай на новоселье); хозяин продает с дорогою душой: мы в цене сошлись, и остановка лишь за пустяками — у меня решительно нет денег и я не предвижу возможности где-либо занять их». Вот эти-то пустяки и тормозили мою предприимчивость в течение почти пяти лет; конечно, были и осложняющие причины, и главная между ними — отсутствие активной поддержки в товарищах, охотнее тративших текущие средства на массу иных предприятий.

Наконец, в 1878 году, вернувшись с Кавказа после неудавшейся там попытки приобрести нелегальным путем требуемую сумму для осуществления своей задачи, я уже начинал терять веру осуществить когда-либо задуманное, тем

более, что результат годовой деятельности целого кружка «меркантилистов» был все тот же ноль. Кружок этот состоял из десяти человек и назывался так потому, что в среде его было постановлено прежде всего добыть средства, для изыскания которых мы все разъехались по разным городам. Как вдруг в Одессе я случайно встретился с Россиковой. Это был первый попавшийся мне человек, у которого оказалось самостоятельно выработанное должное отношение к денежному вопросу. Я с удовольствием узнал, что денежная сила считалась важным фактором революционной организации, — необходимым средством для создания ее. Без этой встречи мне, вероятно, не скоро бы пришлось приступить к делу. Спустя два месяца я получил от Россиковой предложение принять участие в нелегальном приобретении средств для революционного дела и к великой радости узнал, что предметом воздействия будет служить именно Херсонский государственный банк.¹

Из этого беглого очерка истории зарождения во мне, развития и, так сказать, реализации банковской идеи видно, что в последнем акте (реализации) я не являюсь инициатором. Честь инициативы и здесь так же, как и почин в деле террора, всецело принадлежит русской женщине — и в этом нельзя не сознаваться, как оно ни странно с точки зрения установившихся

¹ Автор делает в нескольких местах своей статьи очевидную ошибку, употребляя слово «банк» вместо «казначейство». Прим. ред. «Былого».

отношений радикалов к радикальным женщинам. Женщина-социалист справедливо может гордиться подобными знаменательными фактами, существующими как бы в пику автору «Мыслей революционера».¹

Прибыв в Одессу 1 мая 1879 г. по приглашению Россиковой, я застал в наличии следующие ресурсы, с которыми и надобно было приступить к делу: заготовлена приспособленная квартира в Одессе, оборотного капитала было всего 800 руб., и состав лиц, долженствовавших принимать непосредственное участие, включая и меня, не превышал шести человек — больше не оказалось.² Из них трое мужчин и три женщины; сверх того имелось еще двое мужчин и одна женщина (в запас на всякий случай). В этот наличный состав входил и Алексей Клименко (он же Погорелов), уголовный, бежавший из арестантских рот, проживавший нелегально по фальшивому паспорту. Природный атеист и социалист, слегка распропагандированный штундизмом, а потом через штундистов познакомившийся с радикалами, это был в высшей степени человек поворотливый и одаренный недюжинным умом; он был нужен, как практик, которому в прошлой жизни не раз приходилось брать товар из магазинов посредством подкупов.

Я уже сказал, что имелась возможность располагать всего только 800 руб., т. е. не доставало до определенной а priori суммы 2200 руб.,

¹ Статья «Мысли революционера» была, повидимому, помещена в журнале «Кара». Ред.

² См. в приложениях: «Кто должен был участвовать в подкупе».

да и тех еще не было полностью на руках. А потому, сообразно с этой цифрой и с наличным составом лиц, план действий был таков:

1) занять ближайшую квартиру, из которой предназначалось вести подкоп; расположиться там самым семейным, домашним образом, сообразно характеру внешнего вида квартиры;

2) буде свободной квартиры поблизости не окажется, употребить все возможные легальные и нелегальные средства выжить жильцов наиболее удобной по внешним признакам квартиры;

3) позаботиться об устройстве надежного притона где-нибудь поблизости. Назначение его состояло главным образом в том, чтобы временно скрыть добытую сумму на тот конец, если по ее обширности или по чему-либо другому ее нельзя будет сразу вывезти в Одессу, где должна быть учреждена центральная агентура всей организации в виде какого-либо торгового учреждения для большей замаскировки. Притон в Херсоне должен быть устроен так, чтобы в нем была возможность скрыться людям, которым нельзя будет заблаговременно выехать в Одессу.

Думать о заготовке собственных перевозочных средств не только для вывоза из города, но даже для доставки с театра действий на другую квартиру, было невозможно в виду отсутствия денег.

Первый блин — да и комом! Первого товарища из наличного состава мы потеряли в первый же день моего прибытия в Одессу. Это был офицер русской армии, только что вернувшийся из-за Дуная с георгиевским крестом. Он нахо-

дился в отпуск на излечение, вследствие полученной контузии при взятии Шипки. Он должен был устроить притон, так как для этого нужен был легальный человек — условие, которому он вполне удовлетворял. Кроме того, он во всякую минуту готов был пожертвовать своей легальностью для стоящего дела. Таким образом мы в нем понесли незаменимую потерю. Это печальное событие произошло так: явившись за мной в Крым с предложением от Россиковой, он, между прочим, сообщил мне во время пути о крайне неудовлетворительном положении денежной стороны, а также, что ему заявлено другим кружком о возможности с некоторым риском нелегально приобрести 2000 руб.; за подробностями об этом предложено было обратиться в квартиру Ф—а (Г.).¹ Сумма, как раз недостающая в наших ресурсах, что и навело на такие соображения: почему бы не приобщить этой суммы к нашему делу, в виду большей обеспеченности его успеха, совершив все, что нужно для этого, проездом через Одессу в Херсон.

Сказано — сделано. Не теряя времени, тотчас же с парохода, бросив чемоданы в квартире офицера, отправились мы к Ф—ну и наткнулись на засаду. Ф—н был уже арестован, и нас препроводили без дальнейших рассуждений в участок. Мне удалось выкрутиться только благодаря тому, что товарищ принял великодушно на себя компрометирующее знакомство с Ф—м,

¹ См. в приложениях: «Материалы для характеристики Н. Л. Властоуло». См. там же о «М. Я. Геллисе»:

так и все предосудительные вещи, обыском обнаруженные в наших чемоданах; там были краски для волос, револьвер, кинжал, яд и проч. В то же время он искусно разыграл роль случайной встречи со мною. Вечером его препроводили куда следует, а меня выпустили, и я, конечно, постарался больше не встречаться с полицией, так как на другой же день она спохватилась, догадавшись о своей оплошности, и подняла сыскную тревогу.

Таким образом, это была первая жертва безденежья, несколько позже мы все стали его добычей. Кроме незаменимой стороны — надежного официального положения, мы лишились в нем одного из энергичных и горячих подвижников дела; потеря его была для нас столь существенно важна, что я немедленно принял решение сделать предварительно попытку изъять его из рук тюремщиков, с каковою целью должен был остаться на время в Одессе и заняться организацией освобождения, а Россикова отправилась в Херсон для обзора позиции и, буде окажется свободная квартира, то немедленно дать задаток, чтобы не упустить ее. Таким образом, дело с первого раза осложнилось: приходилось комбинировать и людей и средства на два предприятия.

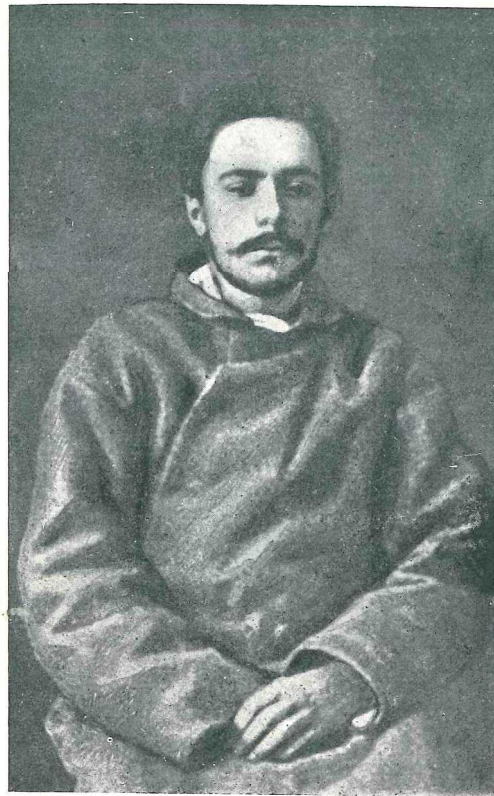
Предварительный осмотр окрестностей банка в Херсоне привел к открытию свободной квартиры, которая была удобна и в то же время неудобна; удобство состояло в стратегическом положении, хотя она и примыкала ко двору вице-губернатора Пашенко, лично знакомого мне и Россиковой, который и заведывал отдачей ее

в наймы через посредство дворника, но это маленькое неудобство с избытком вознаграждалось близостью и удобством ведения подземной мины; неудобство — в том, что она состояла из восьми комнат, так что была для нас слишком велика и не по карману, требовала соответственных затрат для меблировки и, вообще, придания квартире вида домовитости. Но выбора не было, и 5 мая Россикова вручила задаток, заняв квартиру по подложному паспорту на имя какого-то морского доктора, женою которого заявила себя. Нанимая квартиру, она заявила дворнику, что находит квартиру не в достаточно приличном виде и будет предварительно отделывать ее на свой счет и по своему вкусу выкрасит потолки и стены, а также велит осмотреть и переделать печи.

Имея это в виду, мы решили немедленно начинать дело, тем более, что проект освобождения окончательно не выгорел, по крайней мере осложнялся и затягивался на продолжительный срок. Итак, решено было приступить к делу, предоставив одному из агентов (замечу в скобках — женщине)¹ вести дальнейшие сношения и переписку с тюрьмою, так как, покончив с банком, можно будет, не стесняясь в деньгах, повести атаку на острог и шире и успешнее.

С этой минуты все наличные силы стали стягиваться к Херсону, а резервам в то же время дано знать, чтобы они двинулись к главному центру, в Одессу, за получением дальнейших указаний. Россикова отправилась в Аккерман

¹ См. в приложениях: «О Е. Н. Южаковой».



Ф. Н. ЮРКОВСКИЙ
на Карийской каторге
1879 г.

за Алексеем, который явился в Херсон под видом мастера, снявшего подряд отделки квартиры. Здесь вышла преуморительная сцена между Россиковой, Алексеем и дворником. Роли были выполнены артистически. Алексей заломил небывалую цену, предварительно обещав дворнику мотарыч, чтобы он поддержал его, указывая, что барыня пребогатая и ничего не смыслит. Россикова само собою торговалась, как подобает скупой старухе, а дворник, ведя свою линию, гнул сторону Алексея, стараясь показать в то же время, что он соблюдает интересы барыни. После окончательного соглашения Алексей немедленно нанял рабочих и принялся малевать стены и ломать печи.

Таким образом у нас уже имелось две квартиры: агентура в Одессе и квартира, предназначенная для подкопа. Надо было иметь под рукою еще притон. В виду важности предполагаемого факта¹ в Херсоне следовало ожидать самых крайних мер для розыска, а потому более безопасным оказалось укрыть его в другом городе, но вместе с тем надо было иметь его под рукою, ибо все значение притона заключалось в том, чтобы в случае экстренной необходимости иметь возможность быстро скрыться, так как, имея хоть восемь часов времени, возможно добраться до Одессы, т. е. обойтись без притона. Таким, удовлетворяющим обоим требованиям, местом являлись Алешки. С одной стороны, они отстоят от Херсона всего на расстоянии полутора часов шлюпочного пути по

¹ То есть подкопа. Ред.

Днепру, с другой — можно было допустить, что там розыски будут слабее, потому что весь его полицейский штат не подведомственен Херсонскому управлению, так как город принадлежит уже к Таврической губернии. Сверх того, между Херсоном и Алешками с раннего утра и до поздней ночи существует непрерывное движение шаланд и мелких пароходиков и на обеих пристанях круглый год кишмя кишит народ, так что в этой массе снующей публики легко замесаться и не быть замеченным. Но главное затруднение состояло в легальном, внушающем доверие звании, а между нами только и был один легальный. Это — арестованный. Оставалось единственное средство — занять квартиру для какого-нибудь действительного семейства, которое не было бы посвящено в тайну предприятия, так, чтобы служило делу без ведома для себя. Выбор пал на семейство одной из участниц — Алексеевой, и хотя было крайне неловко делать участниками дела и рисковать людьми без их ведома, но того требовала серьезная важность предназначаемой функции и было бы недобросовестно перед делом не сделать всего, что от нас зависело в этом направлении, тем более, что помещение денег в притоне предполагалось только в случае невозможности вывезти их в Одессу. Таким образом допускалась возможность не пускать притона в действие и, кроме того, скрытие капиталов являлось уже последним актом предприятия, и в этом периоде дело имело гораздо менее шансов быть открытым, чем во время ведения подкупа, так что риск на долю посто-

ронней семьи выпадал сравнительно малый. Наконец, буде дело прогорит, то следствием легко обнаружатся обстоятельства, доказывающие непричастность известных лиц к делу, и тем легче, чем они сами будут менее подозревать свое участие в нем.

Старушка Алексеева проживала в собственном хуторе одесского предместья «Большой Фонтан», в 15 верстах от города; добиться ее согласия на наем квартиры в Алешках выпало на мою долю, как человеку хорошо знакомому в семье. Мать знала, что дочь ее Анна больна и лечится в Крыму, а потому я явился к ней, как будто бы только что из Крыма, и передал ей просьбу дочери нанять для нее квартиру в Алешках, куда она скоро приедет, по совету докторов, лечиться купаньем в имеющихся там иодистых озерах; молодую же Алексееву предупредили, что действуем от ее имени, отправив специального посла с надлежащими инструкциями. Старушка была занята ремонтировкой своего хутора и раньше как через месяц не могла оставить работы — срок слишком долгий. Тогда я предупредительно предложил свои услуги, взяв на себя хлопоты по найму и устройству квартиры в Алешках, и мне удалось заполучить для этой цели ее вдовый вид на жительство с обозначением проживающих при ней взрослых сыновей и дочерей, а также обещание приехать через неделю погостить хоть на несколько дней.

Заручившись этим драгоценным для нас документом и вернувшись с ним в агентуру, я ожидал распоряжений из Херсона от Российско-

вой. Занимаясь на досуге окончательным приведением агентуры в надлежащий вид, я приобретал запасы самых разнообразных вещей, могущих понадобиться в будущем.

Около половины мая Россикова вызвала меня, наконец, в Херсон с предупреждением обратить тщательное внимание на гримировку своей особы, так как пароход встречается жандармом, проживавшим в доме моего брата, где он имел возможность хорошо познакомиться со мной во время моих приездов к брату; сама она обещала, что встретит меня на пристани. Это была весьма комическая встреча: я был в цилиндре, синем *ripse-nez*, с козлиной бородкой; щегольское пальто, перчатки и франтовской зонтик довершали маскарад. Меня встречала не Россикова, а какая-то сторбленная старушка с седыми волосами; при этой мистификации мы, стараясь в то же время избегать жандарма, до тех пор безуспешно высматривали друг друга, пока не столкнулись носами и только тогда могли распознать друг друга. Мы поняли, что сделали ошибку, не заручившись условными знаками. Тут же у пристани стояла заготовленная лодка, в которую мы и сели, чтобы отправиться в Алешки, где поместились в номерах постоянного двора под именем матери и сына Алексеевых впредь до розыскания удобной квартиры. Мы имели в виду приучить алешковцев к постепенному водворению семейства Алексеевых. Россиковой в то же время приходилось посещать работы Алексея в херсонской квартире; там она являлась богатой брюнеткой, женою доктора, а здесь седою старушкой, моею

матерью, бедной, но благородной вдовой. Так длилось более недели. На месте действий было всего трое: Россикова, Алексей и я; у каждого была своя роль, а у Россиковой даже две, за неимением необходимых лиц. Приезд остальных ожидался со дня на день.

Положение дела было таково: в Алешках требовалось подыскать квартиру, дожидаться приезда Алексеевых и, водворив их окончательно, покончить с притоном. В Херсоне следовало отделить для жительства одну или две комнаты в виду того, что не хватало средств меблировать всю квартиру прилично званью; остальных же переделку затянуть до окончания подкопа. Россикова должна занять эти отделанные комнаты и надзирать за работами в остальных к приезду семьи и мужа, которые, за неимением надлежащего персонала, до конца должны оставаться мифическими. Подкоп в виду такого положения следовало вести возможно быстро — земля должна была скрываться дома; о вывозе ее нечего было и думать в виду того, что во дворе еще были квартиры с жильцами и в него же выходили окна вице-губернаторского дома, да и дворник вертелся постоянно перед глазами. Само собою разумеется, что Россикова в положении докторши не могла поселиться без горничной, роль которой должна была играть молоденькая жена Алексея с грудным ребенком. Присутствие этого последнего придавало некоторый колорит семейственности. На горничной лежала в будущем обязанность хождения на базар, приготовления пищи работающим в mine и на нее же возлагалась внеш

няя политика, состоящая в сплетничаньи про свою барыню с дворником и с прислугой других жильцов двора. Ожидание прибытия ее с Алексеевой задерживало наши действия и начинало сильно тревожить, так как Алексей выбивался из сил, стараясь затянуть работу, что было трудновато, потому что в отсутствие Россиковой дворник нехотел добросовестно исполнял ее поручение присматривать за работой.

Наконец квартира для притона была найдена, мебель для него и для херсонской квартиры была куплена на ярмарке и свезена на место; прибыла и горничная с ребенком и Анна Алексеева, немедленно пославшая письмо матери с просьбой поскорее приехать хоть на несколько дней. Россикова переселилась в Херсон, а Алексеева поселилась со мною, уже под видом сестры, в квартире нашего притона, сообщив новым хозяевам, что мать уехала на несколько дней к себе на хутор. В этой квартире Россиковой не следовало показываться, а место ее должна была занять уже настоящая мать, которую ожидали со дня на день, чтобы предоставить ей самой предъявить свой вид в полицию для прописки. Мы поджидали еще прибытия своих рабочих рук для подкопа, которыми можно было бы заменить наемных штукатуров, но так как резерв мужского персонала, к сожалению, не был так исправен, как женский, и не давал о себе никакой вести, а время тянуть было уже положительно невозможно, так как работа в квартирах началась и без того уж 15 мая, то 26 мая мы торжественно приступили к специальной работе: прорезали две доски пола

в углу маленькой кухни, выходящей фасадом прямо против денежного подвала, так что образовалось отверстие аршина полтора длиною и около трех четвертей ширины, затем начали рыть колодезь, который был углублен в первый же день на четыре аршина. С этого времени я оставался несколько дней безвыходно в квартире Россиковой, скрывая свое присутствие от соседей, и не появлялся в Алешках, чтобы прибывшая к тому времени мать Алексеевой не могла заявить, предъявляя паспорт, о проживании у нее посторонней личности.

Первоначальная работа производилась только по ночам в таком порядке: Алексей работал в колодезе, ссылая землю в ведра, которые Россикова вытаскивала в прихожую и подавала мне на веревку, спущенную с чердака, имеющего люк в прихожей; таким способом я и вытаскивал землю на чердак. Маша (жена Погорелова) находилась в другой, парадной половине квартиры, присматривала за ребенком и следила за внешним спокойствием дома. Для большего удобства на веревках имелись железные крючья, так что ведро, вынутое из колодезя, тотчас снималось с крючка, надевалось другое порожнее и опускалось обратно, потом вручную его переносили в прихожую, где подвешивали на крючок второй веревки и т. д. Работа шла безостановочно и быстро.

Так как почва оказалась глинистая, то мина велась не треугольником, а сводом, т. е. в поперечном сечении давала не треугольник, обращенный вершиной вверх, а имела вид арки. Мина не превышала десяти вершков в ширину

и около одного аршина в вышину; следовательно, над нами имелся пласт целины в три аршина. На день пол тщательно вымывался, прорезь маскировалась кухонным столом, имеющим между ножками сплошную полку, на которой Маша располагалась рубить мясо; печь растапливалась, начиналась стряпня, и дворник свободно приходил любезничать с молодой кухаркой; меня запирали в темный чуланчик, а Алексей приступал к официальной работе — окраске потолков. Россикова входила в роль барыни. Когда боковая мина достаточно удлинилась, пришлось несколько изменить образ действий; в mine уже требовалось присутствие двух; землю высыпали на пол прямо в кухне, откуда время от времени приходилось, вылезая из мины, тем же лицам вытаскивать ее на чердак. Таким образом, в рабочих руках чувствовался недостаток с каждым днем все сильнее и сильнее, а подкрепление к нам ни откуда не приходило, несмотря на запросы, постоянно посылаемые в агентуру. Поэтому пришлось выписать сверхштатную молоденькую радикалку, обладавшую хорошей мускульной силой.¹ Работали день и ночь, чтобы ускорить окончание, так как денежные ресурсы истощались, да и положение становилось не совсем ловким: муж с остальным семейством что-то уж долго не приезжал. Старуха Алексеева уже водворилась, и Анна днем приходила под видом гостыи помогать в работе. Самая работа в mine шла так: один был впереди и вел собственно мину при

¹ Это была Л. Д. Терентьева. См. о ней ниже. Ред.

помощи копьеобразного резца, складывал землю в жестяной ящик с гладким дном, другой помещался в самом колодце и таскал ящик при помощи веревки вдоль мины, пересыпал землю в ведра, которые и вытаскивались женщинами наверх; затем порожний ящик оттягивался первым обратно за веревку, укрепленную к другому его концу. Так как, вследствие недостатка воздуха, свечи стали гаснуть, то пришлось озаботиться проведением вентиляционной трубы, рукав которой шел в отдушину, проведенную в угол двора, где ее покрыли кадкой. Вообще свечи могли гореть только в наклонном положении под углом в 45 градусов; их подвязывали к ручкам вилок, которые втыкали в стену; железная труба около двух вершков в диаметре составлялась из многих коротких колонн, проходила по своду вдоль галлерей и увеличивалась по мере ее удлинения. В этот период всех обитателей квартиры было: двое нас мужчин, Россикова, горничная Маша и прибывшая барышня; сверх того иногда приходила помогать Алексеева. Итак, двое мужчин на четырех женщин, если принять во внимание, что и притон держали женщины, и в Одессе главным агентом оставалась опять-таки женщина, то по всей справедливости это предприятие может быть вполне названо женским делом по тем ролям и степени участия, которые они принимали в нем.

Инструмент, употребляемый для определения направления хода под землею, был столь же прост, сколько остроумен. Он состоял из двух-аршинного деревянного бруска, по середине

был выдолблен компас и уровень; ось последнего совпадает с продольной осью бруска. Надо заметить, что стена квартиры, в которой находилось окно, выходящее против кладовой, шла параллельно боковому фасаду погреба. Теперь, если из этого окна брусом, имеющим насечку вместо мушки, взять на прицел, как из ружья, направление, по которому надо вести мину, и заметить угол отклонения компасной стрелки от оси бруска, то, спустившись в мину, стоит только привести брусок в такое положение, чтобы получить замеченный угол, и тогда уже ясно, что направление его и будет именно то, по которому следует вести мину. О малейшем уклонении вниз и вверх дает знать уровень, а длина всего прибора служит для измерения пройденного под землею пространства. Впрочем, этот инструмент служил только для большей точности; существенной же надобности в нем не было, так как направление мины достаточно точно определялось направлением стены. Все требуемые принадлежности, как-то: инструменты, приборы, парики, краски для гримировки, оружие, паспорта на разные имена и т. д., доставлялись по мере надобности из главной агентуры, где заранее было заготовлено все, что было необходимо; туда же стекались, как в резервуар, деньги, по мелочам добываемые агентами.

Итак, все пока шло как по маслу, если не считать того обстоятельства, что вытребованный мужской резерв не являлся нам на подмогу.

Еще в начале работ в одном месте обнару-

жилась тронутая земля (т. е. не целина); вероятно в этом месте была вырыта когда-то глубокая яма, которую впоследствии зарыли. Из опасения обвала пришлось обойти это место влево; таким образом мина получила искривление, а потому ящик с землей, двигавшийся по прямому направлению, не мог попрежнему двигаться; он постоянно упирался в образовавшуюся выпуклость с правой стороны мины и его надо было отводить каждый раз; для этого устроили слева небольшое углубление, куда посадили еще одного человека.¹ Я упомянул об этом обстоятельстве, чтобы показать, насколько мы нуждались в рабочих. Дня за два или за три до окончания мины у меня обнаружился сильный пароксизм лихорадки, которую я привез с собой с Кавказа и которую усилила сырая атмосфера мины. Я лежал в бреду, работа приостановилась. Тогда Россикова решила ввести новую личность, человека, непосвященного в наше предприятие, но с которым она раньше вела кое-какие переговоры. Это был Николай Франжоли. Так как еще во время моего управления заводом Банова он высказывал мысль о возможности подобного предприятия, то можно было ожидать, что он не уклонится от участия в нем. Вечером Россикова отправилась к Франжоли и привела ее с собою. Он проработал ночь, заняв мое место, и обещал прийти на другой день, но больше не являлся

¹ Так как, по словам А. А. Алексеевой (неизданные заметки к воспоминаниям Юрковского), «лишнего человека не было, то брали одного из тех, которые должны были вынимать землю». Ред.

по неизвестным причинам и, как оказалось впоследствии, независимым от него: ему помешало административное вмешательство.

В пятницу утром Погорелов, работавший все время впереди, заявил, что с часу на час можно ожидать появления «манифеста»; вечером он возвестил из переднего конца галлерей: «вышел манифест». Я передал дамам это радостное известие, означавшее, что показалась передняя стена погреба. Однако разобрать стену оказалось гораздо труднее, чем мы предполагали. Она была сложена из громадных камней, величина которых превышала значительную ширину и вышину мины, так что вытащить их не было возможности и пришлось вырыть здесь же у стены глубокую яму, в которую их и свалили. Это заняло значительную часть времени: кладка оказалась известковой, а известь, как известно, весьма крепко связывает камни. Они с трудом поддавались действию лома. Удивляюсь, как Алексей не знал полезного в данном случае применения укуса. Толщина стен оказалась около двух с половиной аршин. Эту длину имел туннель, образовавшийся после разборки стены; ночь и день и следующая ночь прошли в этой разборке. Наконец, в ночь с субботы на воскресенье (с 2 на 3 июня) делом был окончен; образовалось маленькое сквозное отверстие, через которое можно было просунуть руку в кладовую. Продолжать далее работу было опасно; среди ночной тишины шум мог быть услышан часовыми через небольшие окна, находившиеся в уровень с землею, да и свет бросался бы в глаза, а впотьмах трудно

ориентироваться в незнакомом месте, потому мы решили ожидать утреннего рассвета, когда уличное движение будет заглушать стук нашей работы. В эту ночь явился, наконец, один из тех, которых мы так давно ждали.¹ Работа была окончена, оставалось подумать об отступлении.

Вновь прибывший не принял участия в этом последнем акте и, проработав несколько часов, ушел и больше не являлся. Что заставило его поступать таким образом? Причину надо искать в новизне дела и в шаткости его нравственного значения. Я знал этого человека по многим делам. Он деятелен, неустрашим и очень практичен и сам признавал необходимость такого предприятия. В чем же дело? Приговоре, давая слово явиться по требованию, он не ожидал, не верил, не допускал возможности успеха и мало придавал значения замышлявшемуся; отсюда его легкое отношение к этому делу. Будучи связан словом в этом предприятии, он вступил в другое, в которое и вложил уж часть своей души, а потому, получив призыв, он и явился нехотя: ему казалось, что главное место там, а не здесь. Благодаря своей необыкновенной практичности, он сразу увидел и указал нам, что у нас совершенно не заготовлены пути к отступлению, и действительно, это была слабая наша сторона; но вместо того, чтобы помочь нам устранить этот недостаток, он рассудил, что не может взять на себя много риска, так как у него на руках дру-

¹ Это был М. Ф. Фроленко. Ред.

гое дело; этого не случилось бы, если бы с самого начала (т. е. при сговоре) у него было более искреннее отношение к нашему предприятию. Привожу этот факт в виде иллюстрации странного и, если так можно выразиться, пассивного сочувствия, с каким относились к предприятиям этого рода даже некоторые из выдающихся представителей нашего радикализма.¹

Действительно, пора было подумать об отступлении. Мы решили отправить с утренним пароходом лишний народ, а именно Машу с ребенком и «приезжую барышню»; Россикова, я и Погорелов должны были остаться в квартире и принять на себя обязанность спрятать добытые деньги в безопасные места.

Впоследствии мне приходилось слышать недоумевающие вопросы, почему деньги не были тогда же отправлены с уезжающими в Одессу. Вот почему: наблюдая за жизнью на дворе казначейства, мы видели, что ежедневно около 11 часов утра комиссия, состоявшая из казначея и еще нескольких чиновников, спускается в кладовую, как бы производя ревизию, и затем выносит в небольших сундучках деньги, очевидно, для ежедневных расходов. По воскресеньям присутствие в казначействе закрыто, но бывает ли по воскресеньям проверка печатей на сундуках в кладовой, — мы не имели времени узнать.² Дело было в воскресенье на рассвете,

¹ См. в приложениях: «Роль М. Ф. Фроленко в подполье».

² Как оказалось впоследствии, проверки печатей по воскресеньям не происходило. Ред.

пароход отходил в семь часов утра; если допустить возможность воскресной проверки, то она должна явиться в 11 часов утра, а так как пароход находится в пути около 8 часов, то в Одессу он приходит около 3 часов, значит тревога произойдет в то время, когда он еще будет в пути; телеграмма в Одессе получится ранее его прибытия и, следовательно, наши влопаются, если возьмут деньги с собой.

В силу таких соображений решено было денег с пароходом не отсылать.

В пятом часу утра, предоставив кому следует снаряжаться в путь, мы с Погореловым спустились в мину. Россикова осталась сигнальщиком у окна, выходящего во двор казначейства, прямо против часового. Мы, имея в руках по свече, проползли на брюхе все протяжение мины (около 8 саженей) вплоть до стены погреба, расширили отверстие настолько, чтобы можно было пролезть человеку, отвалив для этого несколько камней; вследствие этого образовался такой сильный сквозняк, что наши свечи погасли. Первый полез Алексей, подвигаясь ощупью. Вначале мы никак не могли сообразить, куда мы попали. Всунув головы и руки в образовавшееся отверстие, каждый из нас попеременно ощупывал сверху над головой, не выше полутора футов, какой-то досчатый потолок, и внизу холодный каменный пол. Проникнув в отверстие стены, мы должны были еще некоторое время ползти в этой низкой непонятной щели. Оказалось, что пролом находится как раз под громадным шкафом, стоявшим на высоких ножках. В погребе был

полумрак, не позволявший разглядеть предметы, и мы рискнули зажечь спичку; после этого нам представилось обширное помещение, пол и стены которого были выложены каменными плитами в квадратный аршин, посреди стол, покрытый зеленым сукном, вокруг несколько полукресел какого-то старомодного фасона, по стенам шкафы с бумагами — и только.

Странное чувство овладело мною в этом непривычном положении, среди этой странной обстановки; мы в пестрых нательных рубашках, портах и чулках; рядом со мною — вор по ремеслу, который становился моим руководителем; необходимость ошаривать чужие шкафы, с целью отыскать деньги — как хотите положение странное! Право, до тех пор мне никогда не приходилось хозяйничать в чужом имуществе.

Я, как и все, допускал подобное положение лишь абстрактно, в теории, и вот это абстрактное стало конкретным. Все это возбудило во мне не то чтобы неловкость, — я слишком был уверен в своем праве, — а просто ощущалась какая-то несообразность, несоответственность положения. Между прочим, Погорелов быстрой привычной рукой рылся в шкафах, без церемонии срывая печати и разбрасывая их по полу. Он принес мне целую кипу бумаг: это оказались бланки, свидетельства о военной повинности, розовые, белые бланки крестьянских паспортов, дворянские свидетельства, различные патенты на право торговли в кабаках, гильдейские свидетельства и т. п. Я отложил по пачке

всех этих бумаг, не исключая патентов о торговле в кабаках, — пригодятся, дескать, для наших будущих притонов. Однако, денег нигде не было. Тут мы заметили в стене небольшую, сплошь окованную железом дверь, с громадным висячим замком.

Мне всегда было непонятно, как воры ухитряются без шума ломать замки. Теперь я это понимаю; дело довольно простое: заложив небольшой ломик в дужку замка, мы обернули натуго этот конец лома, вместе с замком, тряпкою и действовали рычагом. Поломка происходит без шума. В данном случае замок был необыкновенен по величине и не поддавался. «Ладно, — пошутил Погорелов: — за взлом замка судят строже, нехай же замок остается целым, а мы сорвем дверь с петель». Однако, петли оказались так крепки, что мы ничего не могли поделывать. «Близок локоть, да не укусишь», ворчал Алексей, тщетно работая ломом. То неожиданное обстоятельство, что погреб оказался состоящим из двух комнат, разделенных такой прочной дверью, отняло у нас два часа лишнего времени, пока удалось наконец, при помощи лома, разорвать железную клямку. Дверь эта скрывала за собою такую же комнату, несколько темнее и меньше. На полу стояло штук двадцать маленьких кованых ручных сундуков, похожих на те, которые ежедневно выносили по утрам, кучи небольших мешков с медной монетой новой чеканки и три больших деревянных сундука, величиной с обыкновенный стол, только немного ниже и шире; каждый из них был запечатан и замкнут двойным замком — вися-

чим и внутренним. Сундуки были простые, деревянные, окованные железными полосами; отсутствие негоряемой кассы нас удивило. Что содержат в себе эти сундуки — деньги или тоже бумаги? С трудом верилось, чтобы большие суммы хранились не в железных кассах.

Свернув замки первого большого сундука, мы подняли крышку. Он был буквально набит пачками аккуратно сложенных кредиток всех цветов; синие, красные, радужные, каждая пачка представляла собою как бы колоду карт и была оклеена узкой бандеролью с обозначением сумм такой формулой: $1\,000 \times 10 = 10\,000$, что означало: тысяча штук десятирублевых составляет десять тысяч. Вскрыли второй сундук — оказалось то же самое. Увидя, что мы едва имели возможность опорожнить эти два, мы открыли третий только для того, чтобы посмотреть, нет ли там золота; его не оказалось — те же бумажки! Более из любопытства, чем по надобности, я отбил замок у одного маленького сундучка. Это оказались земские суммы, непосредственно выжатые из крестьянского пота; грязные, потертые, засаленные, они резко отличались от новых или почти новых денег государственного банка, находящихся в больших сундуках. Их мы не захотели трогать и не взяли из этого сундука ни одного рубля. В больших сундуках, как потом оказалось, были деньги исключительно государственного банка, находившиеся на хранении в кладовой казначейства. Набивши пазуху депозитками, мы отправились через минуту обратно, чтобы поде-

литься впечатлениями и узнать, много ли нам остается времени до 11 часов, т. е. до часа ежедневных ревизий.

Уезжавшие уже одевали бурнусы и торопились, так как было уже без четверти семь, и до отхода парохода оставалось только четверть часа. Нам тоже нельзя было мешкать, так как по нашим расчетам выгрузка и перенос через мину, хотя бы того, что заключалось только в двух сундуках, должны были занять часа два, если не больше, и сверх того нужно было вынести их из квартиры. Поэтому, не вылезая из квартиры,¹ мы сообщили, какая прорва денег оказалась в казначействе, высыпали из-за пазухи в опущенное нам ведро взятые деньги, и, хотя было решено с пароходом их не отправлять, мы все-таки посоветывали отъезжавшим захватить хотя по одной пачке на всякий случай и положить ее за пазуху, чтобы в случае обыска незаметно выбросить за борт. Они захватили только одну пачку, и, к сожалению, им второпях попала пачка десятирублевых бумажек. Если бы они взяли пачку сторублевых, то спасено было бы сто тысяч, а не десять. Я упоминаю о тех десяти тысячах, которые остались не разысканными, и которые — о судьба! — целиком пошли на подготовку царского взрыва.²

Но возвратимся снова хозяйничать в казначействе. При выгрузке сундуков мы произво-

¹ Не из квартиры, а из мины. Ред.

² Деньги эти увезла Л. Д. Терентьева. См. в приложениях: «Лила Терентьева».

дили сортировку, стараясь отобрать только пачки с самыми крупными ассигнациями, заключающие рублевые, трехрублевые и зачастую даже пятирублевые, бросали на пол, как лишний хлам, способный породить лишь затруднения. Затем отобранные кучи валили через пролом в мину, пока не наполняли ее доверху; тогда один из нас пробирался с величайшим трудом сквозь эту денежную насыпь к колодцу, а другой, оставшийся на месте, нагружал деньгами тот самый ящик, которым прежде мы возили землю; таким образом, при помощи этого ящика и ведра деньги доставлялись в кухню совершенно тем же путем, как и земля. В продолжение этого в высшей степени оригинального препровождения времени Россикова несколько раз кричала: «Довольно, господа, вылезайте!» Но ей хорошо было говорить — она видела только ту массу, которую мы ей препровождали, и не видела, сколько еще нашего добра приходилось оставлять во вражьем стане, куда мы проникли с такой опасностью. Однако и я начал соображать, что мы потеряли уже очень много времени, — ведь надо еще успеть очистить квартиру до 11 часов. Я поделился этим соображением с товарищем.

— Эх! то богата еще, покинуты треба; ну та де наше не пропадало! Нехай еще останется им для расхода, щоб було чим нас помянути!

Мы выгрузили всего только половину сундука, правда, отобрав самые крупные бумажки. Трудно представить себе, что изображала кухня, когда мы, вылезши из мины, вошли в нее. Эта маленькая комната сплошь была завалена день-

гами, в которых Россикова в своем темном платье буквально утопала до пояса. Мы решительно недоумевали, что делать с этой массой денег, как их брать и нести. Раньше мы думали взятые деньги завязать в узел и взять под мышку, но их оказалось столько, что и на плечах не вынесешь. Наскоро составили военный совет. Всем стало очевидно, что держать такую массу денег в одном месте положительно безрассудно, и что надо разбить их, по крайней мере на две партии, так что, если пропадет одна, то по крайней мере другая половина будет спасена. Тогда Алексей заявил, что недалеко от города, на Чернобаевских хуторах, у него есть надежный человек, который вероятно теперь на базаре со своей подводой и с которым он не раз прежде имел дела. Он не откажется и теперь укрыть нас с деньгами. Получивши от нас согласие, Погорелов тотчас же переоделся и побежал разыскивать знакомого, а мы с Россиковой занялись счетом денег, чтобы составить себе хотя приблизительное понятие об их количестве, но нам никак не удалось насчитать более миллиона. Наконец это занятие нам так надоело, что мы решились бросить его и забрать деньги как есть без счету. Под руку попала большая корзина, в которой прачки обыкновенно носят белье. Эту корзину я набил самыми крупными пачками, преимущественно сотенными, четвертными и десятирублевыми бумажками. Остальными деньгами насыпали два старых, дырявых мешка из-под угля; более подходящих предметов не оказалось. Эти мешки были обыкновенные полчетвертные, т. е. на-

сыпанный зерном каждый весил от 5 до 6 пудов.

Наконец прибыл Алексей со своим хохлом и наскоро условился с Россиковой, в каком трактире на базаре будет ее ожидать, чтобы отправиться вместе на хутор, так как она находила более удобным скрываться на хуторах, чем со мною в Алешках. Взялив на плечи подводу и отправились. Я остался, чтобы забрать остальные деньги, а Россикова, чтобы привести в порядок квартиру, сжечь все компрометирующее и выйти последней, замкнув квартиру снаружи. На полу валялись еще разбросанные пачки; я завернул их в одеяло, что составило помимо корзины особый тюк, весом фунтов в 35. Тщательно переодевшись, я отправился за фаэтоном. Извозчика, само собой, взял из дальних кварталов. Вынес на него свой тюк и корзину, прикрытую черным женским платком, и приказал ехать на рынок, где купил 12 фунтов вишен, которыми присыпал сверху корзину, переменял извозчика, потом заехал в большой бакалейный магазин, чтобы иметь возможность еще раз переменить извозчика, и тогда только отправился на пристань. В Херсоне всегда собирается на пристани несколько обывателей, ожидающих пока наберется полный комплект на шаланду — тогда каждому приходится менее платить за перевоз — или же когда кто-нибудь побогаче не заявит, что платит сам за все недостающие места.

Когда я вошел в шаланду, за мной сейчас же вскочила какая-то женщина с ребенком на ру-

ках; я поторопился приказать лодочнику отчаливать. Целую дорогу этот ребенок был предметом моих неусыпных попечений. Как только мать забывается, он тотчас запускал ручонку в мои вишни, что каждый раз заставляло меня предупредительно подносить ему горсть, — из опасения, чтобы он, роясь в корзине, не обнаружил того, что скрывалось под тонким слоем ягод, а это, в свою очередь, заставляло мать с искренним чувством благодарить меня за внимание, оказываемое ее ребенку, и именно в то время, когда я, не менее искренне, желал ей, вместе с ее ребенком, провалиться ко всем чертам.

Было сказано выше, что пролом был окончен к 3 июня. Приступлено же к работам 26 мая. Итак вся работа была сделана в 8 дней, а так как расстояние между нашей квартирой и кладовой было около 8 сажень, то каждые сутки мы вырывали средним числом 1 сажень, работая днем и ночью; впрочем, сюда же нужно отнести 4 с половиной аршина колодца и 2 с половиной аршина каменной стены, так что, собственно говоря, за это время вырыто около 10 сажень.

В Алешках извозчицью биржу составляют всего две одноконки, управляемые восьмилетними мальчуганами. Я сунул подскочившему вознице свой тюк и, взяв корзину в руки, уселся на дрожки. Мальчик уже знал, где я живу, хотя мне никогда до этого времени не приходилось ездить с ним. Дома меня встретила только молодая Алексеева, старуху мы к тому времени отправили в Одессу. В виду

предосторожности на случай обыска надо было закопать привезенные деньги; пол в занимаемом нами домике был глиняный. Погорелов, осматривал раньше помещение, советовал выкопать яму для этой цели под печкой. Я не находил этого места самым удобным и безопасным; главное не хотелось, чтобы, кроме меня, кто-либо знал вообще, где спрятаны деньги, так как тогда ключ к отысканию их был в руках не одного, а двух, т. е. было бы вдвое больше шансов к отысканию их.

Домик был окружен большой пустошью, сплошь заросшей густым бурьяном вышиною в пояс. Дождавшись ночи и пересыпав деньги в два крепких холщевых мешка, я запасся большим ножом, и с этой ношей прокрался бурьянами к середине пустоши; здесь вырезал ножом часть верхнего слоя земли, так, что вынул куст вместе с землей, не повредив корня; потом тем же ножом, лежа на земле, стал рыть яму. Заступом работать было неудобно, так как соседи, спящие под досчатыми заборами своих огородов, легко могли бы услышать шум. Яма была углублена настолько, насколько позволяла сделать это рука, опущенная в нее вплоть до плеча, т. е. на полтора аршина; потом яма принимала боковое направление в виде маленькой мины, чтобы деньги были лучше защищены от дождя целиной, которая, разумеется, должна меньше пропускать воду, чем разрыхленная земля. Закопав таким образом свои мешки, я снова вставил куст на свое место и полил землю водой. Никаких признаков произведенной работы не осталось, — трава росла на

своем месте. Мне казалось, что розыски зарытых денег могли быть произведены только при помощи плуга, которым надо было бы вскопать всю пустошь, но так как ни один плуг не захватывает на такую глубину, на какой были зарыты мешки, то с этой стороны я считал себя вполне обеспеченным. Так как уехавшие женщины имели поручение немедленно приставить в Алешки второго резервного радикала, о котором первый упоминавшийся выше сообщил, что он находится в Одессе, то мне оставалось только ожидать его прибытия; он должен был зайти в один из следующих вечеров, забрать деньги и тотчас же отправиться назад, стараясь сделать свой визит по возможности конспиративнее. Однако, прошли уже четыре дня, а никто не являлся. Между тем на базаре, в лавках, на улице, всюду только и говорили о чудесном исчезновении денег из казначейства. Я выслушивал, удивлялся, разводил руками наравне с другими.

Я сильно надеялся на легальность своего притона и был убежден, что подозрение не падет на мою квартиру, если только в нашем поведении не будет ничего странного. Таким странным, например, мог показаться мой отъезд, так как мать Алексеевой и без того отсутствовала, и, следовательно, из целой семьи оставалась одна моя фиктивная сестра; все это заставляло меня оставаться в Алешках. В маленьких городках соседи постоянно имеют друг друга на глазах, и отсутствие одного из них не может остаться незамеченным.

Всем вышеизложенным исчерпывается цель

моей статьи, но я приведу еще одну картинку моего бегства из Алешек, как выразился прокурор, или самовольного исчезновения из города Алешек, как назвал я его в своем показании. Привожу этот факт, во-первых, потому, что он сам по себе интересен, а, во-вторых, — и это главное, — чтобы выяснить поведение Маловички, так как многие несправедливо подозревают, что он был подкуплен мною. Итак, возвращаясь к рассказу в его хронологической последовательности.

«На пятый день на горизонте нашей безмятежной жизни появилась темная туча в лице исправника Маловички», — так диктовал я свое показание, сидя за чашкой кофе в уютной гостиной курского жандармского полковника. Вот как это было: около четырех с половиною часов утра Алексеева разбудила меня словами: «вставай, тебя пришли арестовать, там за дверьми стоит исправник с квартальным и просит, чтобы ты вышел на одну минуту, а за соседним забором, я сама это видела, спрятаны солдаты с ружьями». Я наскоро оделся, сунул кинжал за пояс, так как сам еще не знал, что придется делать. Перешагнув порог, я встретился лицом к лицу с полным брюнетом среднего роста.

— Исправник Маловичка, — отрекомендовался он несколько официальным тоном.

— Очень приятно, не угодно ли зайти в комнату, — пригласил я, и, когда он вошел, я продолжал, — тесновато здесь и беспорядок, не взъيщите: такой ранний визит!

— Ах, извините, пожалуйста!

Мы сели к столу.

— Могу ли осведомиться, чему я обязан удовольствием видеть вас у себя, г. исправник?

— Мм... видите ли... Вы, вероятно, слышали о том, что в Херсоне украдены деньги из казначейства?

— Как не слышать, весь город об этом только и толкует, но... я все-таки не понимаю, какое отношение это имеет к вашему визиту. — Сказав это, я прибавил про себя: ну, коли так начинаешь, то дело еще не совсем пропащее.

— Вы, пожалуйста, извините... в таких случаях полиция хватается за первый признак. Дело в том, что часть денег и некоторые участники отысканы: они указывают, что остальные деньги пошли в Алешки, хотя путаются в своих показаниях и указывают также и на Николаев, говорят, что тут замешаны социалисты... Вы, конечно, не откажетесь помочь нам в розысках...

— С удовольствием... что могу; в таких случаях обязанность каждого честного человека...

— Скажите, пожалуйста, не были вы в воскресенье в Херсоне?

— Был, — отвечал я, посмотрев на него в удивлении в упор.

— Где именно провели вы время?

— Я отправился туда в субботу и ночевал у своего брата.

— Не припомните ли вы, в котором часу вы вернулись в воскресенье?

— Это было около 11 часов дня, — катнул я напрямик, так как не оставалось сомнения, что обстоятельства моего прибытия в Алешки известны до мельчайших подробностей.

— Странно... время как раз совпадает, — проговорил он как бы про себя, — не привезли ли чего-нибудь с собою?

— Я купил там вишен для варенья и привез их с собою.

— Вот, видите ли «вишни»! — Лицо его выразило удивление.

— Скажите, — начал он поспешно, — в чем вы везли их?

— В большой корзине, — рубил я, заранее предугадывая впечатление, которое должны произвести мои слова на собеседника, — были и другие кое-какие покупки: мыло, сахар, не припомню всего.

— Ах, позвольте, пожалуйста... Эта корзина здесь? Я могу ее видеть?

Он обвел глазами маленькую комнату.

— Разумеется, она в чулане. Вот что касается до вишен, то их уже не существует, так как сестра сварила из них варенье, которое я могу рекомендовать вашему вниманию... Анята, угости-ка нас своим вареньем! — обратился я к Алексеевой.

— Благодарю! Знаете ли, эта корзина и надела вся кутерьму: известно, что в корзине провезены деньги... И... я... право в затруднении.

— А... теперь я понимаю ваш визит. Так вот что!

В это время Алексеева поставила на стол большой супник с вареньем.

— Значит мои вишни смутили полицию, — снова начал я. — Ну, так вот что мы сделаем, г. исправник, — улыбнулся я, — поедим эти

вишни и напишем протокол, что вишни эти уже уничтожены, и пусть они больше никого не смущают.

Я подставил ему супник и налил из бутылки в стоявшие на столе два стакана красного вина и затем предложил сигару. Горько ему впоследствии пришлось эти вишни!

Вот целиком весь разговор, который произошел между нами. После этого он встал, выразил надежду, что ему больше не придется беспокоить нас своим визитом, пожелал нам всего хорошего, и мы расстались друзьями.

— Живите себе с богом! — были его последние слова.

Слух о том, что я откупился — совершеннейший вымысел. В квартире у меня было всего лишь несколько рублей на расходы.

В сущности Маловичка — в высшей степени добродушный и, по-своему, честный человек;¹ если прибавить к предыдущему разговору, что обстановка маленького домика, состоящего из небольшого чулана и одной комнаты с мазанным полом, скромно меблированной с претензией на некоторое изящество, с лампадкой перед образами, с чистенькими занавесками на крошечных окошках, за которыми виднеются грядки, усеянные цветами, говорила о такой мирной жизни, о таком мещански-буржуазном затишьи, то совершенно понятно, почему у исправника, — несмотря на имевшееся у него предписание, — просто не поднялись руки арестовать нас. Он никак не мог допустить мысли,

¹ См. в приложениях: «Алексеева о Маловичке».

чтобы эта скромная обстановка скрывала за собою херсонских удалцов; он был убежден, что здесь простое совпадение случайностей и решил выждать более определенных указаний, уверенный в том, что мы никуда не исчезнем; да и то сказать, не всякий обладает способностью хватать встречных и поперечных по малейшему подозрению — для этого нужно родиться жандармом! Мне и впоследствии всегда было жаль этого добряка, обремененного многочисленной семьей, который как бы из-за меня потерял средства к существованию, хотя я, спасая себя, спасал в сущности дело... При том не моя вина, что люди даже при некоторой личной порядочности ставят себя наравне с последними прохвостами в положение наемных лакеев, а на войне шашка рубит, не разбирая людей. Такова логика борьбы!

Но вернемся к рассказу. По уходе исправника я очутился в крайне затруднительном положении. С одной стороны, казалось, что надо было пользоваться минутой и бежать, не ожидая второго визита, так как по словам Маловички можно было заключить, что арестованные выдали меня; но с другой стороны, если судить по действиям исправника, то обстоятельство, что он ушел, не арестовав меня, давало веский довод в пользу предположения, что, если измена и была со стороны арестованных, то во всяком случае не полная, может быть только невольный намек... Если бы мы решились бежать немедленно, то денег нельзя было бы захватить с собою по той причине, что до ночи их нельзя было откопать неза-

метно для соседей; а между тем внезапное наше исчезновение было бы несомненным доказательством нашего участия в деле и подвергало риску оставленную сумму; выходило, что следует остаться по крайней мере на одну ночь, взять деньги и бежать на следующий день; но тут зарождалось подозрение, не оставили ли нас на свободе именно затем, чтобы подсмотреть за нами и открыть, где спрятаны деньги остальные... Алексеева говорила мне: «Поезжай немедленно в Одессу и посылай сюда завтра же матушку, а я останусь для вида хозяйничать в доме; быть может, твоего отсутствия не заметят, а если спросят, я скажу, что ты поехал за матерью в виду странного посещения исправника. Если все обойдется благополучно, то после завтра можешь приехать сам или пришлешь кого-нибудь за деньгами». При этом она указала на то обстоятельство, что если меня арестуют, то, наверное, повесят, между тем как женщина от этого вполне застрахована. Нельзя было оспаривать основательности последнего обстоятельства: это было в самый разгар белого террора, которым правительство ответило на действия революционеров. Я согласился поступить по ее совету.¹ К вечеру дом был оцеплен солдатами и Алексеева арестована; денег не нашли, хотя изрыли весь пол. В продолжение недели обыски возобновлялись 5 или 6 раз, — вокруг дома тоже все перерыли, вскопали

¹ Юрковский тогда на лодочке переехал в Херсон, а затем сел на пароход и уехал, кажется, в Одессу (примечание А. А. Алексеевой).

грядки, искали под деревом, но деньги все не отыскивались. В это время мы в Одессе готовились к весьма рискованному предприятию: перехватить деньги у полиции. Но это было почти невозможно: меры, принятые для розыска, превзошли все наши ожидания. Херсон и Алешки были поставлены на военное положение; не только весь наличный состав полиции, но и команды местных войск были поставлены на ноги, и солдаты наравне с полицейскими рыскали по окрестным хуторам. По всем заставам расставили караулы, по всем дорогам разослано преследование; не было никакой возможности ни проехать, ни выехать, чтобы не попасться в руки полиции. В Алешках, едва только подъезжала к берегу шаланда с новой личностью, как к ней тотчас же подходил околоточный с допросом: кто, откуда, зачем, кого имеет знакомых. Затем следовал осмотр документов, которые оставались при полиции до отъезда; за каждым прибывшим учреждался строжайший надзор. Таким образом в Алешках не было решительно никакой возможности прожить и двух дней без официального предлога, особенно это было трудно для нелегального, а вследствие крайней миниатюрности городка, нельзя было и придумать такого предлога. Делать было нечего, пришлось подыскивать какую-нибудь должность. Так прошло около двух недель, по истечении которых я, оставив все дело на руках товарищей, уехал из Одессы, так как мое пребывание там сделалось серьезно рискованным, вследствие того, что какой-то бездельник заявил полиции, что лично видел

меня на Цыганской улице. В городе пошли усиленные облавы, Цыганская улица была оцеплена и во всех домах произведен был повальный обыск.

Три недели спустя полиция, наконец, отыскала деньги при помощи железного щупа, благодаря бесстыдной откровенности арестованной к тому времени жены Погорелова, которая выдала нас на чистоту, рассказав все, что только знала. В своих показаниях она усиленно настаивала на том, что деньги находятся в Алешках, так как ей известно, что в Одессу привезено только 10 000. Это и побудило прокурорский надзор с новой энергией возобновить розыски. Подлая женщина за свое гнусное предательство была выпущена на волю.

В это время наши ребята уже водворились в Алешках с подробным планом местности, который я им оставил.¹ Кому-то из них удалось пристроиться к должности, и они ожидали только ночи, чтобы откопать деньги, которые, таким образом, выдерживали атаку с двух сторон, так как в течение дня прибывший прокурор с новой энергией взрывал пустошь. Враги опередили нас лишь одним днем.

Следует объяснить еще, как власти узнали о моем пребывании в Алешках. Уже после своего ареста я узнал, как полиции удалось добиться указания на мой притон от Погорелова. Лишь только он с Россииковой были достигнуты на Чернобаевских хуторах, полковник

¹ См. в приложениях: «Дополнение В. И. Сухомлиных к рассказу о поджоге».

артиллерии Мордвинов приставил револьвер к груди Погорелова с угрозой: «говори, разбойник, где остальные, или я тебя застрелю на месте». Алексей молчал. Тогда последовало приказание солдатам бить его прикладами, что они буквально и выполняли до тех пор, пока Погорелов под их ударами не упал замертво. Известно, что та же сцена повторилась в камере прокурора при дознании, после чего и полетела телеграмма в Алешки. Очень может быть, что истязуемый, в полубессознательном состоянии, под ударами солдат произнес несколько слов, выдавших меня. Очевидно только, что так называемого чистосердечного, т. е. подробного показания он не дал даже при этом, не очень гуманном, способе допроса, иначе мне не удалось бы ускользнуть. Как человек, я не могу строго относиться к этой вынужденной измене Алексея.

Вот картинка весьма назидательная и для наших нравственников: извольте посмотреть, к какого рода средствам прибегают представители правосудия и закона, стоящие на страже того общества, которое упрекает революционеров за принятие принципа: «цель оправдывает средства». Пытка на формальном допросе! И это не при Иване Грозном, а при Александре-Освободителе! Да и мало ли таких картинок можно было бы привести, ну, хотя бы обыск в камере Анны Алексеевой, во время которого смотритель разорвал ей рот, отыскивая записку.¹

¹ См. в приложениях: «Дополнение А. А. Алексеевой к рассказу Юрковского».

Воля ваша, а рассказ Успенского, в котором коробочка пилуль заполучается ударом по плечу бедного аптекаря, после которого тот, прогулявшись в Соловецкий монастырь и обратно, все еще не может владеть рукою, дышит глубокой жизненной правдой, и нисколько не удивительно, что гигант-купчина после того, как побывал на допросе, только и делает, что ест да спит, «суставы расправляет, отдышаться не может».¹ Алексей, полагать надо, тоже не мало времени расправлял суставы, — это уже не рассказ, а действительность. Ну, да все это к делу не идет, как говорит рассказчик, — пора и мне окончить.

Так печально закончилось это грандиозное предприятие. В назидание оно оставило нам твердое убеждение в необходимости прочной организации: не знаю, как для кого, но для меня этот факт в высшей степени поучителен.

Из приведенного рассказа ясно видны причины неудачи: во-первых, недостаток денежных средств, во-вторых, недостаток в людях; то и другое можно подвести под одну общую формулу: отсутствие прочной организации. Я не имею в виду организации данного предприятия, она едва ли могла быть лучше при тех условиях, я говорю об общей организации революционных сил с центральным распорядительным отделением, ведающим обо всех предприятиях, одновременно ведущихся в разных местах, и распределяющим, сообразно

¹ Речь идет о рассказе Г. Л. Успенского. «Маленькие недостатки механизма». *Ред.*

с потребностями каждого места, как людей, так равно и общий революционный капитал. При такой организации я бы не мог остаться в критическую минуту без всякой поддержки, предоставленный собственным силам и вынужденный избегать когтей правительства, уже наложившего свою тяжелую лапу на дело, поглотившее столько труда. Для кого этот довод не ясен, пусть сравнит описанное дело с организацией любого царского взрыва, хотя бы даже только по официальным отчетам о процессах. Как там все предусмотрено до мельчайших подробностей, какая разница в подготовке, какие средства. И зато какая разница в результатах. Неудачи, конечно, и там бывали. Это зависит от того, что заведующий этими предприятиями «Комитет» еще далек от совершенства; но тогда как мы, в случае неудачи, теряем всех действующих лиц, там наблюдается нечто совсем иное. В Москве полиция находит только одного лишь «кота»; при взрыве дворца ей удается узнать только имя пропавшего рабочего, а затем никаких дальнейших следов.

Это общие причины; в частности же причина неуспеха должна быть отнесена насчет того, что мы мало озаботились подготовлением отступления. В плане хорошо была разработана только наступательная часть. И действительно, очистка, если можно так выразиться, была ведена безукоризненно, по суворовскому правилу: «быстрота и натиск решают дело». Зато насчет отступательных путей, действительно, оплошали. Но разбор этой части предприятия выходит из рамок нашего рассказа, который

имеет целью показать читателям, как горсть людей, без всяких орудий, почти с голыми руками, вооруженная лишь личной энергией, закладывала фундамент величественного здания. Здание обрушилось, задавив строителей, потому что одним и тем же людям приходилось быть и каменщиками, и плотниками, и архитекторами, и чернорабочими. Энергия может расходоваться только до известных пределов; ее хватит на то, чтобы добиться цели, спрятать же деньги следовало предоставить свежим силам. Рухнуло оно, наконец, и оттого, что вместо прочных краеугольных камней, за отсутствием надежного материала, приходилось употреблять мягкую глину.

Таковы горькие опыты анархической системы организации революции, по принципу вольных федеративных групп, принцип, который мы, в особенности южане, так облюбовали, увлеклись формами будущего, совершенно упуская из виду, что бороться приходится не с будущими условиями, а с настоящими, и что при настоящих формах борьбы победу можно одержать, лишь противопоставив государственной организации организованную же силу, да притом еще не малую, так как вековая традиционная организация государства стоит еще весьма твердо.

«Служители монархии, господа, не краснобаи, а практики, и таких практиков следует желать и вам» — эти слова Лассалья огненными буквами следует запечатлеть каждому революционеру вместо того, чтобы верить наивным утопиям о разва-

лившихся столпах. Оно, конечно, поболтать о гниении столпов можно, да гляди, как бы не пришлось еще поболтаться на этих столпах, — вот это уж и не так чтобы совсем складно.

В заключение выяснено следующее обстоятельство: в начале мною сказано несколько слов, характеризующих мое личное отношение, как участника, к описываемому факту с нравственной стороны. Делая это, я желал сделать мой рассказ по возможности более полным.

Между тем, эти несколько слов, брошенных мимоходом, были приняты многими как желание отстоять нравственность самого факта и защищать его от тех нападков, которые сыпались и, к удивлению, сыпятся до сих пор на него со стороны многомудрых критиков революционной деятельности. Поводом, давшим возможность возникнуть этому недоразумению, является то обстоятельство, что, начиная рассказ, я совершенно упустил из виду уровень революционной культуры читающей публики. Теперь я жалею, что коснулся этой стороны. Мне следовало, указывая на общественное значение данного факта, ограничиться категорическим заявлением, что, подобно выстрелу Засулич, который произвел окончательный переворот в пользу известного направления и выяснил это направление как публике, так и самим действующим лицам, точно так же, говорю, дело о казначействе и действие его на публику послужило последним и окончательным фактором для установления и обобщения определенного взгляда на известную категорию действий (взгляда, до сих пор неустановившегося

даже в среде самих революционеров) в определенный принцип, опубликованный ныне в последней программе Исполнительного Комитета. Принцип этот так прочно утвердился, что не конфузясь фигурирует в первом параграфе этой программы.¹ А это важнейшее и существеннейшее значение рассматриваемого дела. Теперь каждому, у кого в голове есть хоть какой-нибудь червячок, не трудно понять, что рассуждать о нравственности или безнравственности какого-либо явления, входящего, как частный случай, в общее положение, ставшего руководящим принципом целого ряда явлений, становится уделом лиц, оставшихся слишком далеко позади движения.²

Вот все, что мне следовало сказать по этому поводу. Я сказал больше и жалею об излишестве.

¹ Программа эта гласит:

«Руководящий принцип действий Исполнительного Комитета вполне определяется отношением лиц и общественных групп к делу революции.

§ 1. По отношению к правительству, — как к врагу, цель оправдывает средства, т. е. всякое средство можно считать дозволенным».

² См. в приложениях: «Заключительный абзац воспоминаний Юрковского».

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ А. А. АЛЕКСЕЕВОЙ ОБ Е. И. РОССИКОВОЙ И Ф. Н. ЮРКОВСКОМ

...Дотянулась, наконец, наша партия до Иркутской пересыльной тюрьмы.

Так как Россикова должна была идти в рудники, то нас отделили друг от друга, ибо мне предстояло выйти на свободу, на вечное поселение в неведомой мне дотоле стране.

За время путешествия с Россиковой я сильно привязалась к ней, но знала ее я и раньше. Не помню, какой именно это был год, — 1867 или 1868. Меня с моей меньшей сестрой привели в Одессе в образцовую школу девиц. Школа эта помещалась в доме Попуда и выходила окнами на Соборную площадь.

Помню, как мы с сестричкой были поражены тем, что при входе представилось нашим глазам: — всюду чучелы животных и зверей. Но какие! Совсем живые!! Мы с сестрой остались одни и подбегали то к одному, то к другому, рассматривали его внимательно, чтобы убедиться, не живой ли это зверь, не настоящий ли?! Помню, как мы хотели засунуть пальчик в оска-

ленную пасть тигра и как отдергивали, боясь, что зверь укусит.

Школа девиц Виттен славилась тогда на всю Одессу как образцовая, которая могла гордиться не только своим оборудованием, но и учительским персоналом. Образование в ней велось по последнему слову науки, что страшно не нравилось царскому правительству.

Вышла к нам красивая стриженная брюнетка с умными, огненными глазами и в то же время в высокой степени добрыми, лет 20—22 не более. Обласкала нас, приглубила. Это и была Елена Ивановна Россикова, урожденная Виттен, отдавшая себя и свое большое состояние (тогда у обеих сестер было восемьдесят тысяч рублей) на дела служения благу народному.

Та самая Россикова, которая после страшной неравной борьбы с правительством царизма решила выбрать иной путь.

Как честно, как смело, как правдиво звала она своего любимого мужа пойти с нею по иному пути.

Письмо ее к мужу, как одно из усугубляющих вину обстоятельств, читалось на суде 15 января 1880 г., когда она судилась за ограбление Херсонского казначейства посредством подкупа в 1879 г. в начале июня месяца.

Страдая, тяжело страдая от неудач, от казней, к которым приговаривали дорогих ее сердцу молодых людей, беззаветно отдавших себя в жертву за народное благо, она задумала громадное дело: посредством подкупа достать много, много денег и освободить из тюрем тех, кого ждала неминуемая казнь. Она говорила:

1 См. в приложениях: «Справка о Е. И. Россиковой».

взять из казначейства царские деньги — это не значит украсть; это значит — конфисковать у царя, как он много раз конфисковывал у политических деятелей. Это она и сказала на суде в своей последней речи, хорошо понимая, что ответственность увеличивается во сто крат. Да, разочарованная путем легальной борьбы с неправдой и тьмой, она вернулась на дорогу тернистую, тяжкую, полную муки и жертв.

Как фанатик, она не останавливалась на полпути. Она шла твердым, уверенным, бесповоротным шагом.

Каждый раз, когда я вспоминаю о подкопе Херсонского казначейства, я ясно, ясно слышу й-й-й-канье ведер, которыми вытаскивали землю из туннели, проводимой из квартиры Россиковой под казначейство. На углу — квартира Россиковой, на противоположной стороне — казначейство; громадный двор, саженей в 150, разделяет квартиру Елены Ивановны от казначейства; у стены казначейства ходит часовой с ружьем.

Подходя к квартире Россиковой, я чувствую колотья в икрах ног, ноги подкашиваются, душа замирает, сердце страшно сжимается от этого й-й-канья ведер. Замечают ли друзья, как опасно их предприятие? Слышат ли они это предательское йканье ведер, раздающееся протяжно и ясно слышное еще за квартал до их квартиры?! Жара... духота... окна раскрыты и лишь защищены ажурными, низко спускающимися занавесками. Несмотря на мрачное, удрученное состояние, я дрожу за своих друзей... Доведут ли до конца, — неотступная, неотвязная мысль.

Вхожу в светски убранную, вполне приличную комнату, прохожу дальше в соседнюю — полнехонько земли, в третью — то же, в четвертую — то же. Юрковский лежит в бреду прямо на земле; его бьет перемежающаяся кавказская лихорадка. Россикова и Погорелов вытаскивают в ведрах землю. Помогаю. Тяжкая работа. Когда у Юрковского нет приступа лихорадки, работа идет веселее, легче: он силен и очень энергичен; работа пересылается остроумными шутками.

После моего предупреждения ведра чем-то смазываются и не так отчаянно йкают, а все-таки их слышно.

Незачем больше предупреждать: это надоедает увлекающимся работникам. Все равно они будут продолжать спешно свое. Это истинные фанатики, им нет ни до чего дела, у них есть свое неотложное, они срослись мыслью с ним, они прикреплены к нему.

Арестованную Россикову бросили в подвал, морили голодом, не давали в течение 8 месяцев ни чистого белья, ни гребешка. Можно представить, во что обратилась эта женщина! Искудавшая, измученная, с колтуном на голове, она была страшна. Но ум не покидал ее. Ненависть к царскому правительству, ясно выраженная в ее речи на суде, была так сильна, так обоснована, что становилось жутко. Она не была подсудимой — она была судьей.

Все мы были приговорены к виселице. Россиковой отменили смертную казнь за ее несомненные заслуги во время Турецкой войны в 1876 и 1877 гг. Она была сестрой милосердия

как раз тогда, когда свирепствовали самые тяжкие эпидемические болезни и от солдат получила георгиевский крест. Вешать такую скромную, великодушную, честную, самоотверженную сестру милосердия было зазорно даже для царского правительства.

Казнь заменили ей вечной каторгой.

Меня и Елену Ивановну отправили в Московскую пересыльную тюрьму, где мы должны были оставаться до весны, когда начнется отправка партии в Сибирь. Поместили нас в Пугачевскую башню. Добрый смотритель Московской тюрьмы разрешил нам поместиться в одной камере. Тут я заметила, что Елена Ивановна психически больна... Не выдержала, сломилась богато одаренная натура.

Благодаря смотрителю, который доставлял нам книги, мы много читали, Елена Ивановна помогала мне изучать французский язык.

Ночь, мертвая тишина. Раздается лишь по временам томительное — «слу-ш-шай». Уснуло все. Спит уже в среднем этаже Гапка Ищенко, злостный провокатор и шпионка, и вместе с тем настоящая девица-самородок.¹ Сидим на кроватях, снятых с цепей. На день они привешиваются к стене, чтобы можно было повернуться в крошечной гробообразной камере. Стула, конечно, не полагается. Крошечный, тоже прикрепленный к стене столик, у входа «параша». Вдруг обе слышим совершенно ясно шорох под моей кроватью. Ясно, до чрезвычайности ясно, кто-то повернулся под нею.

¹ См. в приложениях: «Провокатор Гапка Ищенко».

«Тш... тшш... — прошептала Россикова, — это Гапка подползла к нам змеею».

На рассвете тоскливо ворковали голуби.

«Ты думаешь, это голуби, — говорила мне Елена Ивановна, — нет, это души замурованных в этих стенах».

Губернатором в Херсоне был друг ее отца, завзятый либерал, повлиявший на нее в юношеском возрасте так, что она всем сердцем чистым своим полюбила угнетенный народ. И вот этот самый губернатор (не могу вспомнить его фамилию), которому она доставила «неприятности» подкопом под Херсонское казначейство, жестоко мстил ей: вместо камеры — подвал с цементным полом, вместо кровати — тонкий слой соломы, брошенной на пол. Кормили селедкой и не давали пить. Ключник, внося графин, наполненный водою, показывал его, вертел его около нее и уносил; не дав утолить жажду. Такой молодой женщине, едва достигшей 33-летнего возраста, не давать чистого белья в течение такого долгого времени!

Всего этого было мало: однажды ночью, совершенно неожиданно, вошла в этот подвал 14-летняя девочка и стала на коленях, целуя руки Елены Ивановны, умолять ее выдать соучастников, чтобы избавить папу от «неприятностей». Это была ученица Россиковой, дочь вышеупомянутого губернатора.

«Поверишь ли, — говорила мне Елена Ивановна, — большей муки для меня не было: девочку, любимое мною дитя, прислать уговаривать меня выдать соучастников?!»

Все эти переживания сделали Россикову настолько близкой мне, что я готова была ехать с нею дальше, прибыв в Иркутск, хотя бы и в рудники. А тут еще прошел слух, что Юрковский осужден на каторгу и уже идет также в Карийские рудники. Я решила остаться и не выходить на поселение.

Я была назначена в Балаганск, крошечный городок, около 180 верст от Иркутска, и немедленно должна была быть отправленной туда. Но я заявила смотрителю тюрьмы Бернгардту, что не уеду, ибо хочу свидеться с Юрковским и прошу разрешить мне это.

Спокойный немец, смотритель тюрьмы, по моему поручению был у Иркутского губернатора и заявил мне, что губернатор не может перемнить решение высших петербургских властей, а посему я обязана немедленно выехать. Единственное средство, которое было у меня в руках, мной было употреблено. Это была голодовка.

Я отказалась принимать пищу. Через несколько дней явился ко мне Бернгардт от имени Иркутского губернатора Педашенко и сказал мне, что губернатор обещал мне и закрепляет это обещание своим честным словом, что он устроит мне свидание с Юрковским, который прибудет не ранее, чем через 2 месяца, а что теперь я обязана подчиниться закону и немедленно выехать в назначенное мне место. При этом смотритель добавил: «Педашенко очень серьезный и честный человек, навверное обещание сдержит».¹

¹ См. в приложениях: «Губернатор Педашенко и его отношение к политссыльным».

Я уехала.

Это путешествие с так называемой обратной партией было во много раз тяжелее того, которое я уже совершила. Там я была с близким мне человеком, здесь совершенно одинокая, ни одной родной души.

Дойдешь до этапа, выйдут на свободу, на поселение в какую-нибудь деревушку, по дороге человека два-три или даже один, и ждешь пока пополнится комплект. Ждешь день, другой, третий, неделю, другую, третью. Холод! Сорокаградусные морозы. Снег на нарах, изморозь на всех стенах. Отопить большой этап трудно, когда партия состоит из одного-двух десятков человек. Большая партия уже наполовину согревает своим дыханием огромный этап. Ни книг, ни работы. Сидишь без дела со своей безысходной тоской. Да к тому же ко всем этим прелестям прибавляется и страх. Ведь никого, никого, кто защитил бы тебя от произвола какого-нибудь унтера, которому вручена твоя жизнь. До сих пор еще застывает в моих жилах кровь при воспоминании об одном здоровенном, высоченном унтере, конвоировавшем нашу партию.

Обратная партия была очень не велика: какая-то безногая цыганка с тремя малолетними детьми, несколько других женщин и человек десять мужчин.

Унтер быстро погнал подводу вперед, на которой, кроме меня и его, никого не было.

Ночь. Луна светит ярко, ярко. Она окружена великолепными разноцветными радугами. Снежный покров делает ночь еще светлее.

Село спит мертвым сном.

Ворота этапа раскрыл дряхлый, предряхлый старичок, очевидно, сторож. Уехала подвода, захлопнулись скрипящие ворота, окружила томительная тишина. Так жутко стало мне с этим большим унтером вдвоем на этом пустынном этапе. Этот час, на который мы обогнали партию, показался мне вечностью. Я лавировала, делала вид, что не понимаю состояния унтера, старалась приготовить что-нибудь поесть, угостить его, обещала денежную награду за шифрованное письмо, которое он доставит Юрковскому по его возвращении в Иркутск. Сверху конверта сделала надпись: «подателю сего уплатить три рубля». По тому времени это был целый капитал, больше, чем теперь 2 червонца по отношениям к ценам на продукты того времени. Унтер заглядывал в это письмо, дивился, что в нем были лишь цифры. Словом я выигрывала время, втайне ожидая прибытия партии.

Наконец послышался грубый, резкий грохот раскрываемых ворот. О, сколько было счастья в этом грохоте, до того таком ужасном, убивающем в корне расшатанную нервную систему!

Вбежала окоченевшая от холода цыганка со своими детьми, и я бросилась к ней и проспала с нею ночь, боясь оторваться от живого существа. А до того я так боялась ее. Боялась заразиться, предполагая, что она больна.

Почти два месяца тянулось это тяжкое путешествие.

В Балаганске я застала 18 человек политиче-

ских ссыльных, все зеленая молодежь, такая жизнерадостная, что смотреть было любо-дорого. Все жили коммуной. Все работали. Заработки делили поровну. Вновь приезжий находил не только кровлю, пищу, но в довершение и самые нежные заботы. Когда я рассказала товарищам, что Иркутский губернатор обещал мне устроить свидание с Юрковским, — никто из них не поверил. Но я верила и не ошиблась. Пришла, наконец, телеграмма, разрешающая мне, хотя и на очень тяжелых условиях, свидание с Юрковским. Балаганск был возбужден.

«Чистым ли путем добилась Алексеева этого свидания?! не было ли с ее стороны каких-либо компромиссов?! Какой-нибудь сделки с совестью?!»

Начались дебаты, обсуждения, предположения и проч., и проч., чему так легко поддается молодежь, да еще в условиях ссылки. Мне, конечно, было страшно тяжело, что товарищи допускают с моей стороны возможность сделки с совестью. Но нравственная чистота ставилась тогда выше всего. Никакие революционные заслуги не могли сделать человека партийным, если он был безнравственным или допускал сделки с своей совестью. Я понимала это очень хорошо и допускала охотно какой угодно суд над собою, только не в этой области. А между тем ларчик открывался просто: Педашенко был не только отзывчив и чуток, что дало ему возможность распознать в молодом существе глубокое, серьезное чувство, но кроме того он был в душе убежденный противник царского режима, о чем я узнала гораздо позже, встре-

тясь с ним, как с эмигрантом, после 1905 г. в Париже.

Получив телеграмму от Педашенко, я выехала и через несколько дней увидела Юрковского в ножных и ручных кандалах с таким грустным выражением лица, которого я за все 5 лет полной близости с этим человеком дотоле не знавала.

Не забуду этого страдальческого выражения лица, как и не забуду никогда вопроса, который он мне задал после первого приветствия: «Простила ли ты меня, Галя?»

Простить?! За что?!

Сын вдовы генерала, убитого в Севастополе, Федор Николаевич Юрковский мог бы жить не заботясь ни о чем. Мать его имела громадное поместье в Крыму, состоящее из соляных озер и к тому же получала солидную пенсию. Семья его не знала, что значит материальная нужда. Это было действительно XVIII столетие, как сам Юрковский выражается в «Булгакове». Все монархисты чистейшей воды. Мать его впоследствии несколько раз гостила у меня на Большом Фонтане летом. Она присматривалась ко мне и, в конце концов, примирилась со мной. Раньше она была против меня, как опаснейшей революционерки, которая и увлекла ее невинного сына. Поживя со мной, она узнала истину: сила была в нем, а не во мне. Она, конечно, и умерла монархисткой. Но как-то она попросила меня снять со стены большой портрет Юрковского. Тогда она уже плохо видела, ей было 84 года. Перекрестила она его, поцеловала, подольше остановила на нем свои глаза и сказала:

«Отец его защищал родину и интересы русского народа. Федя тоже по-своему работал во имя русского народа. И тот и другой был герой. И тот и другой хотел блага родины».

Но вообще семья не понимала его. И как они могли бы понять его, когда он позволял себе вещи, совершенно невозможные для кого-либо из них. Например, все деньги, серебро и драгоценности, достававшиеся ему по какому-нибудь семейному разделу, он приносил в беднейшую коммуны, квартиру нашего кружка, не оставляя себе при этом ничего, как это он сам описал впоследствии, будучи уже в Шлиссельбурге, в своем романе «Булгаков».

Юрковский состоял тогда в нашей группе, в городе Николаеве, и был впервые арестован в 1874 г. вместе с нами, когда мы во главе с Ковальским отправились послушать религиозное служение штундистов. Тут же был и Дробязгин и Имшенецкий, семнадцатилетний юноша, брат студента Новороссийского университета, а также Мария Ленци¹ и моя сестра Сашута, впоследствии вышедшая замуж за Властопуло.

Вспоминая это далекое прошлое, я невольно останавливаюсь на том, как мы были чисты. Когда после ареста всей нашей группы, меня, Сашуту и Ленци, в том же 1874 г. освободили, мы все три женщины получили от офицеров разрешение приходить ночью, после

¹ См. в приложениях: «Еще раз об автобиографичности «Булгакова».

10 часов, на свидание со всеми заключенными. Дежурные офицеры давали нам ключи от всех камер, интересующих нас, и уходили в свою дежурную комнату. Меня долго потом поражало, как могли они все это проделывать, пока, наконец, вспоминая потом подробности, я ясно поняла, какую роль мы играли, не подозревая этого, в глазах караула.

Обстановка такова: темная ночь. Мы приближаемся к тюремному замку и подходим к часовому и просим доложить, что мы пришли, не объясняя для чего. Наружный часовой кричит внутреннему: «Часовой! Офицерские пришли». Внутренний кричит ключнику: «Офицерские пришли!» — Тюремные ворота раскрываются и Ленци, я и Сашута входим. Офицер отсылает ключника и вручает нам ключи. И Юрковский, и Дробязгин, и Имшенецкий, и Ковальский, все собираемся в одну камеру.

Долго, долго я не понимала и в ссылке вспоминала магические слова: «Офицерские пришли!»

Офицеры относились к нам с полным уважением и симпатией. Я объясняла это тем, что Ленци была поразительно хороша, а я пела великоленно; у меня был большой, чистый, приятный голос, три октавы я брала легко, т. е. и все сопрано и все контральто. Я давала тогда в пользу заключенных несколько концертов. Одно было нехорошо — выходить не умела, зацепляла шлейф и шла, как студентка, слишком просто. Театр бывал всегда переполнен, полнехонек.

Акомпанировала мне Ленци.

Всем этим я объясняла хорошее к нам отношение офицеров.

Ленци было тогда 21 год, мне 18, Сашуте 14 лет.

В том году (1874-ом) Юрковский был выслан из Петербурга на родину к матери за участие в каких-то кружках. Тогда еще Ковальский верил в чистый путь пропагандиста и, как самый старший из всей нашей группы, повел нас на собрание к этим сектантам. Но относительно Юрковского, напротив, у меня всегда было глубокое убеждение, что Юрковский никогда не был чистым пропагандистом. Он всегда вышучивал их, как овечек, идущих добровольно на заклание. Он не был фанатиком, как это можно сказать о Ковальском. Он никогда не хотел, совершенно сознательно, примкнуть ни к одной партии. Всюду он видел недочеты. Когда в Одессе произошел съезд революционеров, на котором ставился вопрос о выборе правильного пути борьбы с царским произволом, то Юрковский предложил путь террористический. Но Желябов, тогда еще по убеждениям чистейший пропагандист, после своей очень красивой убедительной речи, возражая на предложение Юрковского, сказал, протягивая руку в сторону последнего: «Вы все террористы враги более, чем монархисты, путь террора слишком ответственен». Отмечу еще, что перелом в воззрениях Желябова и его участие в деле 1 марта, о чем я узнала уже в ссылке, в Балаганске, поразил тогда не одну меня.

Возвращаясь домой с этого собрания, на котором Желябов выступал против Юрковского,

я сказала ему, что Желябов прав и что, если он убьет кого-нибудь, я уйду от него, я не смогу быть его женой.

Спустя некоторое время произошло, однако, следующее.

Прийдя однажды домой очень поздно ночью, Юрковский сказал мне: «Ну, Галя, я убийца. Я только что убил шпиона Тавлеева и это мне было легче сделать, чем убить собаку».

О Тавлееве знаю лишь, что убийство было совершено в саду близ ресторана «Мартена», в котором группа молодежи пела в это время «Дубинушку», и этим отвлекала внимание властей, чем и воспользовались террористы. Сад находился тогда на углу улиц Бассейной и Водопроводной, против теперешней станции «Чумка». Кроме Юрковского в этом деле участвовал еще Попко, но я об этом узнала только по возвращении из ссылки.

Не стану вдаваться в подробности того, как я не только не покинула после этого Юрковского, но он во много раз стал мне дороже, как истинный мученик идеи.

Никогда после этого я не слыхала его искреннего смеха. Если ему и приходилось когда-нибудь посмеяться, чтобы развлечь кого-нибудь, утешить горем убитого друга или серьезно больного, то этот смех был таким деланным, что я очень серьезно просила Юрковского никогда не смеяться при мне таким смехом.

Наше свидание с Юрковским в Иркутской тюрьме длилось три дня. Тут же он мне рассказал, что получил от унтера мое письмо и очень удивлялся тому, что мне удалось написать та-

кое длинное письмо и так счастливо передать его. Ни вступать с ним в законный брак, ни следовать за ним высшие власти мне не разрешили. На этом же свидании он рассказал мне, как будучи арестован совершенно случайно (отец монархист застрелил своего сына, товарища Юрковского, у которого последний гостил),¹ он не был опознан, и в течение полугода в нем не могли признать его самого, пока, наконец, он сам не открыл властям своего имени и не доказал, что это именно он, а не кто другой.

Как курьез, он рассказал мне и то, как одесский полицеймейстер подавал ему шубу в полицейском управлении, ему беглому политическому преступнику. Сколько силы воли было у этого человека, чтобы можно было шутить и рассказывать с таким юмором, с каким он умел подчеркнуть смешные стороны. Это ведь было наше последнее свидание, при таких тяжелых условиях, с человеком с кандалами на руках и ногах. В ручных и ножных кандалах, осужденный на век, он смешил и утешает друга. Сколько должно было быть любви к человеку, чтобы пренебречь, хотя бы на мгновение, своим тяжелым состоянием ради другого.

Прощаясь со мною, Юрковский дал мне свое твердое непоколебимое обещание, что он убежит² и устроит мой побег. Я верила в силу его воли. Я видела не раз его бесстрашность. В моих глазах этот человек мог сделать все,

¹ См. в приложениях: «Об аресте Юрковского».

² См. там же: «Карийский побег 1882 г.».

даже сверхъестественное. Ведь мне было всего 23 года. Тут опять встают передо мной старые воспоминания.

Помню, мы жили с ним в Тифлисе в 1877 г., на окраине города, в большом доме, предназначенном для железнодорожных служащих. Юрковский поступил тогда на железную дорогу с той же мыслью об устройстве экспроприации казенных сумм, которую он впоследствии осуществил в Херсонском казначействе.

Громадная площадь — пустырь отделяет Тифлисский вокзал от дома, в котором мы живем. Поздняя осень. Буря невероятная. Полночь. Юрковский болен, лежит в бреду, с высокой температурой.

Вдруг раздаются ужаснейшие вопли: «Спасите! Спасите!»

Юрковский выскакивает, как был, на крыльцо, делает из кистей рук рупор и громовым голосом кричит: «Сейчас, сейчас! Идем, идем!»

К стыду своему я должна признаться, что я удерживала его. Набрасывая по моему настоянию пальто на себя кое-как, он говорил мне: «Галя, пойми, жить только для себя стыдно».

Я и сама стыдилась за свое эгоистическое чувство, но так было страшно. Весь дом, наполненный жильцами, безмолвствовал. Никто не решался выйти из своих комнат. Казалось, все вымерло. Лишь мой настойчивый стук то в одну, то в другую дверь заставил соседей позажигать огни. Юрковский на этот раз спас жизнь двум людям — кассиру и обер-кондуктору, которые несли солидную сумму денег, что-то около 30 тысяч рублей. Потом оба эти

спасенные сидели у нас до утра. Как сердечно успокаивал их Юрковский.

Еще ранее описанного случая, но не помню хорошо в каком именно году, произошла такая сцена.

Мы были лавочниками. Невзрачная лавчонка помещалась на углу Новорыбной в Одессе. Комната наполнена запрещенными книгами, кинжалами, револьверами и пр. Возбудить подозрение чрезвычайно легко, хотя я и была одета как настоящая мелкая торговка, в какой-то зеленой с разводами сильно накрахмаленной юбке, с соответствующей повязкой на голове. Юрковский в костюме мелкого торговца. Все же опасность была серьезная. Что происходило за стенами нашей комнаты в эту ночь, — я не знаю, но как вихрь налетела и пронеслась у самой нашей лавчонки толпа. Толпа эта ревела, укала, стонала и преследовала очевидно какую-то намеченную ею жертву.

Молодая женщина с распущенными волосами, терзаемая толпой, подскочила к нашей лавчонке. И Юрковский протянул ей руку. Не помню уж хорошо, как именно и чем он отвлек толпу от ее жертвы, но толпа, привлеченная чем-то впереди, умчалась дальше, а Юрковский проводил женщину к ее месту жительства.

Вообще отзывчивость, находчивость, смелость Юрковского были во всяком случае исключительными. Вот один из фактов, характеризующих его находчивость и смелость, который мне напомнила племянница Юрковского (или вернее племянница жены Андрея Юрковского),

в письме об одном из воспоминаний своего детства.

«Семья Андрея Николаевича Юрковского и моя мать с детьми жили летом 1879 г. на даче в Клейн-Либентале близ Одессы, над лиманом, и вот как-то, я помню, у нас днем произошла какая-то суета, а затем мы все побежали из дома, а впереди мчался черноволосый, крепко сложенный человек. Я помню, что это был дядя Федя Юрковский. Я ясно вспоминаю его бегущую фигуру. Когда он подбежал к лиману, по дороге деревни быстро приближались жандармы, но Федор Юрковский не задумываясь бросился вплавь через лиман, и это так поразило их, что они на момент оцепенели, а когда пришли в себя, то Федя уже подплывал к противоположному берегу и вскоре выскочил из воды и, я помню, как на мгновение показался на вершине противоположного берега и затем скрылся. Мы все стояли на берегу и с замиранием сердца следили за черноволосой смелой головой, которая виднелась над водой, и со страхом ждали, успеет ли он доплыть. Да, он успел скрыться, как много раз в своей жизни он своей смелостью и находчивостью избегал ареста».

Для конспиративной деятельности эти черты были большой подмогой.

Замечательна также была мимика у этого человека, что его не раз спасало в его революционной деятельности. Когда он вызвал меня из Севастополя телеграммой в Херсон, чтобы помогать в деле подкопа, и я явилась в гостиницу, где он жил, я увидела перед собою ка-

кого-то джентльмена, совершенно мне незнакомаго, в котором ни одна черта не напоминала Юрковского. Во время самого подкопа под Херсонское казначейство произошел другой аналогичный случай. Понадобились какие-то трубы для подземной работы, но некому было поручить покупку их. Юрковский, приняв соответствующий вид, идет на базар, выбирает трубы и неожиданно сталкивается там со своим родным братом, старшим, Александром Николаевичем, который не только не узнает его, но и не подозревает, кто находится тут же вблизи. Наконец о встрече его с одесским полицеймейстером я упоминала уже выше.

Еще факт, хотя и несколько другого рода. Сестра Юрковского, красавица Ольга Николаевна, была замужем за бездушным жандармским капитаном, которого Юрковский презирал всеми фибрами своего существа. И этого жандармского служителя Юрковский умудрился тем не менее сделать своим орудием, посредством которого он узнавал все необходимое для революционеров. И капитан не подозревал даже, что он служит не царю, а революции.

О способностях Юрковского как конспиратора говорит и следующее: за всю свою жизнь вместе с ним, от 1874 г., когда я была хозяйкой конспиративной квартиры в городе Николаеве (описанной в его романе «Булгаков»), где скрывались революционеры, затем, когда была кузница, где изготовлялись кинжалы, и я училась быть молотобойцем, наконец, на нескольких конспиративных квартирах в Одессе, — у нас не было ни одного провала. Это происходило

потому, что Юрковский был умен и умел выбирать сотрудников. И дело Херсонского казначейства не провалилось бы, если бы товарищи оказали тогда нам большую помощь и поддержку, чем это вышло на деле. Сама я из конспираций знала лишь то, что мне необходимо было знать по самому ходу дела. И я говорила уже, что только здесь, по возвращении уже из ссылки, я узнала, например, что в убийстве шпиона Тавлеева участвовал, кроме Юрковского, также и Попко.

Я вернулась из ссылки в 1896 г. В том же 1896 г. Юрковский умер в Шлиссельбурге.

Еще раньше сошла с ума и умерла на Каре — Россикова.

Когда я спрашивала шлиссельбуржцев о кончине Юрковского, то они отвечали, что она была так тяжела, что лучше не говорить о ней, и категорически отказывались рассказывать о его последних днях. Только в недавнее время, в 1928 г., летом, шлиссельбуржец Михаил Петрович Шебалин, посетивший меня, передал мне, что Юрковский за несколько дней до своей смерти испросил разрешение на свидание со своими друзьями — заключенными. Он объяснил им, что сделал это потому, что по признакам его болезни (болезнь почек) он наверное знает, что дня через два он уже не сможет ходить. При этом Шебалин добавил, что Юрковский очень терпеливо и мужественно сносил свои страдания.

Невольно приходит мне на память характеристика Юрковского, сделанная прокурором, ко-

торый обвинял меня во время суда по делу Херсонского казначейства: «Алексеева — верный спутник великой планеты Юрковского».

Да, бросая, так сказать, исторический взгляд на далекое прошлое, я могу решительно сказать, что прокурор был прав — Юрковский был действительно одной из великих планет в неумирающем созвездии русской революции.

**ПИСЬМА
Ф. Н. ЮРКОВСКОГО**

(Последние годы Ф. Н. Юрковского)

ПИСЬМА С ПУТИ НА КАТОРГУ

ЮРКОВСКИЙ — МАТЕРИ

Красноярск, 14 октября 1880 г.¹

Ну, мамочка, на этот раз антракт весьма продолжителен. С самого Томска, значит с 10 сентября по сие время. Наше шествие длилось не прерываясь, трудно дать вам понятие, что это за путешествие, это не дорога, а целая жизнь бродячего кочевника, шутка ли полтора месяца в дороге, точно цыганский табор, приходим на ночевку, начинается суeta, шум, гам, стряпня, кто варит, кто белье стирает наскоро, ложимся спать, а утром снова в поход, нечего и говорить, что не выберешь минуты написать двух слов, да и отправить нет возможности. Завтра снова двинемся в Иркутск. Этот путь, как слышно, продлится два месяца. Теперь вот что, мамочка, мы обнищали и обголодались, и следовательно, если можно, то вышлите денег в г. Иркутск на имя генерал-губернатора Восточной Сибири, для передачи Федору Юрковскому, больше ничего, в случае если бы деньги пришли и позже нас в Иркутск, то они все-таки

¹ См. в приложениях: «Этапный путь в Сибирь».

будут мне доставлены, туда же пока адресуйте и письма, до следующего извещения, письма эти будут всегда нагонять нас. Так как голод становится весьма чувствителен и деньги очень нужны, то принимая во внимание долгий срок прохождения письма к вам и обратно, хорошо бы послать переводом через банк, так как в этом случае рассчитываю получить их все-таки не раньше, как через 2 месяца со времени отправления этого письма. В виду неудобств пересылок по дальности расстояния, хорошо переслать разом руб. 100. — Опять не знаю, будет ли возможность написать ранее прибытия в Иркутск. Пишите, пожалуйста, мне, крепко стосковался. Анюта, как слышно, поселена где-то в Иркутской области, если не в самом Иркутске, — надеюсь на всех вас в этом отношении. К месту назначения, т. е. в Кару, мы прибудем, говорят, не ранее мая. Прощайте, уж темнеет, завтра выступаем в путь, надо приготовиться. Целую крепко Вас. Прощайте мама и все.

Ваш Федя

Примечание. На письме пометка: «Получила 5 декабря».

ЮРКОВСКИЙ — А. А. АЛЕКСЕЕВОЙ

Красноярск, 14 октября 1880 г.

Дорогая Галя, имею о тебе кое-какие сведения, как водится, ты не пользуешься хорошим здоровьем в настоящее время, как и всегда, словом такая же нехорошая, как и всегда, и Сибирь тебя не исправляет, я же с своей стороны

буду более добр и сообщу, что, попав в Сибирь, заблагорассудил не болеть. Это много выгоднее во всех отношениях. Видел здесь Сашу и Фросю, твоих бывших сожительниц, расспрашивал их о тебе. Вот что, Галя, в настоящее время я подаю уже четвертое прошение о разрешении нам обвенчаться, родные мои об этом хлопочут, приняли живое участие в нашей участи, я надеюсь, что это удастся, ты с своей стороны сделай заявление. Пишу, не зная еще на верное, где ты и когда получишь эту писульку, а потому ограничиваюсь только несколькими словами, тороплюсь, нету времени, вскоре напишу еще. Пока же прощай, дорогая, не горюй, я верю, что так или иначе, мы будем вместе, если не помрем, а посему береги здоровье, чем в настоящее время и я занят. Целую тебя крепко.

Твой Федя

P. S. Не знаю, получаешь ли ты письма от своей мамы, она и все родные твои здоровы. Моя мама собирается, устроив наш брак, переехать в эту страну снегов, чтобы быть ближе к нам. Еще раз целую. Приходится потерпеть.

Завтра выступаем к Иркутску, которого достигнем, по слухам, месяца через два.

Целую еще раз, да и не раз, а много раз, и не прощай, а до свиданья. Весь твой

Пиши мне и пиши много.

Примечание. На письме пометка: «В Канц Ирк. губернатора. Столовач. К. Турчанинов».

ЮРКОВСКИЙ — А. А. АЛЕКСЕЕВОЙ

Канск, 24 октября.

То, что в людях зовется бедою,
Стало нынче моею судьбою...

Галя, голубка моя, пользуюсь возможностью и пишу тебе при шуме и гаме тридцати восьми человек, из которых состоит теперь наша партия. Недели две назад я послал тебе первое письмо из Красноярска, сомневаюсь, получила ли ты его, я повторю его в главных чертах. Я подал прошение о разрешении нам обвенчаться, родные мои хлопочут об этом браке, ты подай с своей стороны заявление, и я надеюсь, что нам удастся после столь долгих сборов в России совершить, наконец, обряд венчания в стране изгнания. О тебе слышал от Фроси и именно, что ты хвораешь. Это плохо; здесь Коля, но еще его не видел, сейчас только мы прибыли, он пойдет с нами дальше; когда выйдем — неизвестно. Может завтра, а может и перебудем недели две, зависит от погоды, т. е. от возможности переправы. Где именно ты находишься, конечно, не знаю, пишу на всякий случай и пишу не много, по многим обстоятельствам. Не знаю, получаешь ли ты письма от матери, она и все твои родичи здоровы. Ну, дорогая, и довольно пока, прощай, надо приниматься за стирку белья, а то запаршивеешь пожалуй. Эх, не то я думал и не так хотел с тобою встретиться, а теперь хоть бы и как-нибудь удалось. Я арестован 10 марта, совершенно не-

ожиданно для себя и других, впрочем и вся жизнь есть случайность, хотя иногда и предвиденная. Ну, до свиданья, а не прощай, ибо я знаю, что мы так или иначе увидимся.

Целую крепко, твой Федя

Виденьем тяжелым встала Кара далекая.
Жизнь безотрадная, жизнь одинокая,
Горько и бурно ты дни проводила
И гробовою доской на меня навалила.
Тесно и грустно лежать мне в гробу,
Отрады и воли я больше не жду
И только одной лишь питаюсь мечтой,
Что снова, родная, увижусь с тобой!
И снова твой голос пробудит во мне
Уснувшие силы, что спят в глубине!

Примечание. На письме пометка: «В. Канц.
Ирк. губ. просмотрено. Столонач. В. Турчанинов».

ЮРКОВСКИЙ — А. А. АЛЕКСЕЕВОЙ

Бирюса, 11 ноября 1880 г.

Пишу тебе в третий раз, голубчик Галя, с тех пор, как повел новую жизнь, т. е. жизнь пленника, оба адресовал в Иркутск, первое из Красноярска, а второе из Канска, где и получил от тебя первое и единственное, но уже после отправки своего и до встречи с Колей, ибо их присоединили к нам только в день отправки. И так настоящее письмо есть ответ на твое, только диалект избираю более родственный, ибо французский язык для меня хотя и понятен, но признаюсь затруднителен, за всем тем поздравляю тебя с успехом в этой области знания, чего доброго тебе придется в конце

концов учить меня и геометрии. Спасибо Коля сохранил твои письма, но странно то, что последнее письмо к нему и ко мне писаны в один день, в моем пишешь, что положительно не знаешь о своей будущности, а Коля по другим сведениям положительно утверждает, что ты уже в Балаганске и по сему туда и пишем. Ну, что скажу о себе? Главное здоров или как теперь следует говорить «здоровы». Галя, сама знаешь, какая радость была для нас встреча, в настоящем положении лучшее могло быть только одно и ты тоже знаешь что. Я положительно помолодел и встрепенулся от нравственной спячки, в которую погрузился с момента окончания суда, так что партия удивляется перемене во мне и толкует ее разное. По душе поговорю еще, писать будем с дороги, нам отвечать в Иркутск, где мы будем недель через пять. Вот бы хорошо было, если бы и тебя отпустили повидаться. Вообще я удивлен приятным образом той гуманностью, которую встречаю повсюду. Крепко целую.

Твой Федя

Подавал многократно еще в Одессе и буду подавать прошения о женитьбе. Действуй и ты. Надежда есть. Родные хлопочут, подробнее писал в предыдущих письмах.

Примечание. Текст письма Юрковского написан между строк письма Властопуло, так что почти сливается с ним. Никаких официальных пометок на письме нет, так что оно повидимому было послано помимо администрации.

ЮРКОВСКИЙ — МАТЕРИ, СЕСТРЕ И БРАТЬЯМ¹

Иркутск, 5 января 1881 г.

С новым годом, дай бог без старого худова. У семи нянек дитя без глаз, и вот где кроется вероятно причина, что в вашем письме, или вернее, в ваших письмах ничего не упоминается о том, получено ли хоть одно мое письмо, даже по смыслу нельзя судить. Вы послали свое 10 ноября, до этого времени я отправил вам, голубушка мама, целых три: одно из Перьми,² второе из Тюмени и третье из Томска, а теперь уже и четвертое из Красноярска, дошло ли хоть одно? В последнем говорю о высылке денег, и, судя по полученным 100 рублям переводом банка, думаю, что оно дошло. Спасибо всем, ибо вероятно общими усилиями собрались; как их, так и письмо с 15-ю рублями получил всего третьего дня, прибыл же сюда в Иркутск дня за два до Рождества. Ну, я вам доложу и даль — еду, еду — конца нету, прошлый год кончил и новый начал, а все еще в дороге. Шутка ли, ведь, отсюда еще полторы тысячи до Кары, а если Байкал станет, то верст на 600 сократим объезд (экое озерное морище). Вот и ожидаем пока замерзнет, что вероятно случится не ранее половины января, тогда снова в путь. Прожились мы в конец. До Красноярска еще кое-как перебывались, а этот перевал был настоящей голо-

¹ См. в приложениях: «Переписка каторжан с родными».

² Так в подлиннике. Ред.

довкой, пришлось существовать исключительно на 12 коп. кормовых денег, а тут еще морозилища страшные, ну а приблизительные цены в этой сторонushке таковы: 1 ф. сахару 40 коп., свечи сальные 36 коп., мясо плохое 15 коп., хлеба белого во многих местностях вовсе нету, ржаной до 8 к. за фунт платили. По прибытии в Иркутск (спасибо Алексеевой — ухитрилась оставить на мое имя 10 руб., как нельзя кстати, она прошла двумя месяцами впереди) я заплатил за пшеничный хлеб 65 коп., который у нас стоит коп. 12, табак третий сорт, стоящий четверть фунта 15 коп., — здесь надо дать 26, 1 ф. махорки — 48. Так вот и чешем в затылке. О приезде вашем совсем рано думать, прибуду на место, обживусь и тогда напишу. Алексеева поселена верстах в 170 от Иркутска, в городе Балаганске, состоящем из двух маленьких улиц, с 400 человек жителей, не имеет ни телеграфа, ни книжной лавки, ни базара, ни даже одного рояля в городе, там их живет штук 15, лишенных всякой возможности заработка, даже мужчины ровно ничего не могут себе приискать. Вчера прочли мне отказ на поданное заявление в Мценске о вступлении в брак, — не хотят, бог с ними, а кажется никому бы не помешало, а так две жизни без надобности разбиваются, ну пусть совершаются веления судеб, я никогда не старался попадать в такт этим велениям, а теперь, если бы и захотел, то не сумею уже. Да, мамочка, в этом отношении все вы прислали мало утешительного. Она¹ подала

¹ Алексеева. Ред.

о назначении себе места жительства в Карийских поселениях, не знаю, разрешат ли, но если бы и разрешили, то не иначе, как на свой счет доставить конвоиров туда и обратно, стало быть около 500 руб., каковая сумма вряд ли может быть отыскана между нами. Дорога к нам идет таким образом: из Москвы в Нижний, потом пароходом в Пермь; Пермь Екатеринбург — железной дорогой, далее до Тюмени лошадьми (около 800 верст). Тюмень Томск — пароходом; далее на Мариинск и Атчинск¹ в Красноярск и через Канск и Верхнеудинск² в Иркутск, все лошадьми. Есть и другой тракт в Сибирь — на Оренбург. Красноярск порядочный город, Иркутск еще лучше, но пострадал от пожара, от которого все еще не оправился. Я вообще не могу пожаловаться на обращение с нами, но гуманность обращений иркутской администрации бесспорно занимает первое место во всем нашем пути. Читая записки ссыльных во Франции, к удивлению приходится убедиться, что мы в этом отношении стоим гораздо выше.

Целую всех. Ваш сын Федор Юрковский

Оля! Эх-ма, — куда меня нелегкая занесла! Вот где пришлось получить реальное представление о бесконечности, — дальность дороги, а главное холод и недостаток в деньгах, сделали то, что мы под конец дороги чувствовали большой упадок сил, но теперь немного оправились и отдохнули. Все время пути партия

¹ Так в подлиннике. Ред.

² Нижнеудинск. Ред.

вела себя примерно, под конец только трое сделали попытку к побегу, несмотря на полную невозможность при тех условиях надзора, какой существует, я, разумеется, не принял участия. В результате вышло то, что все мы украсились стальными цепочками, звон и бряцание в партии такие, что голова трещит. Ты знаешь, что теперь снять брюки целое искусство, достойное внимания; представь себе на обеих ногах два стальных обруча, соединенных цепью; обе калоши брюк, как известно, соединены в шаг, ну-ка, сообрази, как снять брюки, при условии, что кольца с ног не снимаются. Пока прощай, голубка, коли помните — спасибо, а забудете, претендовать не буду. Страшное какое у меня сохраняется ощущение: точно я как-то случайно, по ошибке и без всякой надобности, задержался на этом шарике и вот-вот непременно придется его оставить, — до того я освоился с мыслью неизбежности смерти. Целую тебя, передай поцелуй тете и пришли ее адрес. В Москве я его потерял, ей пришлось много хлопотать, чтоб хоть немного меня увидеть. Скажи ей, что Алексеевой надо писать в гор. Балаганск, Иркутской губернии, Г-ну Исправнику для передачи политической ссыльной Анне Алексеевой.

Прощайте дорогие, брат Федя

Чорт поberi, голубчик Володя, что у вас всегда экватор, я прихожу к убеждению, что все мы родились под экватором, и, по какому-то заклятию, на нас тяготеющему — умрем на экваторе, не исключая и меня, хотя я, повиди-

мому, живу в довольно холодном поясе. Положим, деньги дело наживное — это так, но они и прожитные и в этом обратная сторона дела. В твоих пяти строках для меня много значения, конечно, я не сомневался в тебе, но знать наверное все же лучше. Еще до твоего письма я уже знал, что ты не забыл моей просьбы; старушка пишет дочери, она весьма обрадована тем теплым участием, которое заметно к ее дочери. Спасибо, спасибо и еще раз спасибо... В минуту жизни трудную не тебе приходится вспоминать обо мне, а наоборот, а минута трудна, жизнь, что говорится, ломается пополам и в дребезги, но прах ее поberi, не стоит и клеить, коли не клеится... Я решил, — жаль только, что для вас много бесполезных забот. Простят ли мне когда-нибудь родные и мать за все, что пришлось выстрадать и что еще предстоит? Иначе я не мог жить... Ни собственно каторга, т. е. законом санкционированное возмездие, поднимают во мне эту же немирящуюся строптивость духа, нет, а то, что не предусмотрено никакими законами, не принимается во внимание никакими судами, — тот нравственный мир обязательств и обязанностей в отношении к близким, дорогим лицам, возможность выполнения которых безусловно пресекается, вот где причина глубочайших страданий. Чувствую, что не следует говорить об этом, но что же писать? Внешний мир отрезан и волей-неволей приходится, как улитке замкнуться в самого себя, жизнь сосредоточивается исключительно на внутреннем мире, и вот почему этот мир, быть может, впервые, так сильно

заговорил. Пишу под свежим впечатлением отказа на вступление в брак, до сих пор я тайне возлагал надежду на Иркутск. По смыслу прочтенного закона брак разрешается только через три года по вступлении в разряд исправляющихся, до этого разряда можно добраться через 8 лет испытываемых, итого через 11 лет имею право на сочетание законным браком — и то утешительно. Но само собой, что с подобным решением ни ум, ни сердце не могут примириться. У Вас для полного комплекта нет только Саши, на его долю не мало выпало хлопот в Мценске, передай ему братский поцелуй.

Прощай, крепко жму руку твой Федя

Мне пишите по адресу: или через канцелярию иркутского Генерал-Губернатора для доставления политическому преступнику Федору Юрковскому на Кару. Или же на имя губернатора Забайкальской области для передачи и пр. Не знаю, который вернее, оттуда напишу, а пока самое лучшее если напишите и туда, и туда.

Только в твоих словах Андрюша, не скажу, утешение, а скорее намек на него, хотя при самом сильном желании трудно видеть что-либо больше общего места. Жалею, что не видался с тобою, а выйдет ли хороший знак, не знаю, сдается вилами писано. Лучшего будущего в понимаемом тобою смысле, я пожалуй и не просил бы, и готов был бы примириться с настоящим, если бы не то осложнение в личной жизни, в период которого я был захвачен и которое

не ждет и временем возвращено быть не может. Ты даешь мне завет «терпение», — но дай же мне этого проклятого зелья! Знаешь ли голубчик, что из мировой экономики мне отгужено этого вещества в гомеопатической доле, и что в моем сосуде, хранящем это снадобье, уже слишком явственно обозначается донышко. Подумай же, каково положение дел, если принять во внимание, что элементами противоположного качества, богато одарен? Ну да ладно, будь, что будет. Спасибо за весточку и за перевод, — подоспел в самое время, — голодать по крайности не буду. Пишите чаще — ведь только жизни, что письма.

Крепко жму руку Ф. Юрковский

ПИСЬМО Ф. Н. ЮРКОВСКОГО С КАРЫ —
А. А. АЛЕКСЕЕВОЙ¹

Кара, 20 января 1883 г.

Здравствуй дорогая Галя!

Много, очень много времени прошло с тех пор, как я писала тебе в последний раз из Канска в Иркутск и из Бирюсы в Балаганск. Помнишь? Из Канска было длинное, предлинное письмо, в котором между прочим я объясняла причину, почему не хочу писать обещанную поэму и т. п., из Бирюсы было письмо, кажись, в стихах. Судьбе не угодно было, чтобы мы следовали в одной партии; не угодно было, чтобы мы и переписывались! Иначе, чем объяснить, что 2 года мы друг другу ни словечка?! Ну-с свалим

¹ См. в приложениях: «Карийские тюрьмы».

все это на судьбу, и попросим ее, чтобы она впредь была к нам милостивее. — Собственно говоря, в виду твоих перемещений с места на место (о которых я узнавала по разным письмам) и в виду того, что ты не ответила на мое последнее письмо, — я и не писала тебе. Теперь, когда адрес твой определился, берусь за перо, чтобы дать о себе весточку — и только; потому что писать о своем житье-бытье — всего не напишешь, а писать что-нибудь, не стоит! Вероятно у тебя есть более возможности, чем у нас описать свою одиссею и вообще житье-бытье; так вот если есть время и охота напиши об этом — разумеется в пределах дозволенного и возможного. — Кланяется тебе Коля; письмо и 10 руб. получены, к нему писать можно; письма надеется получать аккуратно.

Твой друг

Лидия Ястремская

Если имеешь намерение писать и присылать деньги (в которых, между прочим, чувствуется необходимость), то вот адрес: В Канцелярию Читинского Губернатора для передачи на Кару жене государственного ссыльно-каторжного Лидии Кондратьевне Ястремской.

Письма надеюсь получать аккуратно.

Примечание. Письмо писано Юрковским в тюрьме и передано конспиративно в вольную команду Л. К. Ястремской, которая переписала его как бы от своего имени и послала по адресу. Таким путем пользовались заключенные, чтобы обойти запрещение в переписке. — «Коля» — это Властопуло

КОНСПИРАТИВНАЯ ЗАПISКА Ф. ЮРКОВСКОГО ПО ПУТИ С КАРЫ В ШЛИССЕЛЬБУРГ¹

Голубчик Анюта, я в дороге и в тревоге, как видишь уже в России. Пишу тебе на этом клочке всего несколько слов, потому что нет почти бумаги под руками, а писать нужно, потому что в этих строчках заключается очень интересное для тебя. Вот что, родненькая, наш общий знакомый (далее условный текст, зачеркнутый в подлиннике) увезены из Кары... надо послать (зачеркнуто) посадят в Шлиссельбургскую крепость. Вот эту-то новость я и тороплюсь тебе сообщить, а больше писать не имею времени. Как-то ты поживаешь, не болеешь ли? Живи и будь здорова, а главное поменьше горюй. Оставим мертвым печися о мертвых. Живые думают о живом. Не повлиял ли коронационный манифест на улучшение твоего положения, говорят, что ссыльных везут без конца обратно в Россию, впрочем, я этому не верю. Ну, прощай моя дорогая, я все хвораю сильнее и сильнее. Целую крепко, крепко, быть может, в последний раз.

«Тоска угасит пламя в моей душе», — хорошо бывало ты пела этот романс. Прощай еще раз.

Любящая тебя Твоя Феня

Примечание. Записка писана рукой Юрковского. Подпись «Феня» условная, от чужого имени, вместо «Федя». Даты под запиской нет. Относится к лету 1883 г.

¹ См. в приложениях: «Перевод в Шлиссельбург».

ПРЕДСМЕРТНОЕ СТИХОТВОРЕНИЕ ЮРКОВСКОГО¹

(Письмо без подписи по адресу: Севастополь, дом Уклонского, Никольская ул., квартира Назаровой, Ольги Александровны).

Милостивая Государыня!

Товарищи покойного сына Юрковской просят передать ей сведения о последних днях заключенного ее сына Федора Юрковского. До самой смерти надеялся он увидеть мать, так как ему обещан был перевод в Дом Предварительного Заключения в Петербурге. Умер он на наших руках, — и это первый товарищ, за которым мы ухаживали, простились с ним и положили его в гроб. Положили в гроб иконку и крестик матери. На память пошлите ей эти стихи ее сына:

Изгнанник света, отчужденный
От мира душною тюрьмой,
Неволей тяжелой угнетенный
Иду на вечный я покой.

И душу мрачный сон объемлет,
Нависли тучи надо мной.
Предсмертной скорби сердце внемлет,
Грудь давит камень гробовой.

И долгий ряд былых мучений
Неотразимою мечтой —
Как длинный призрак сновидений
Теперь витает надо мной.

¹ См. в приложениях: «Последние дни Юрковского».

Унылой мыслию блуждая,
Тревожно в прошлое гляжу
И, тайны смерти предвкушая,
Итоги жизни подвожу.

Пусть я и увлекался,
Софизмы строил целый век,
Пусть я и ошибался,
Но жил, как честный человек.

Товарищи Вашего сына обращаются к Вам с просьбой сделать доброе дело: найти отца одного из Шлиссельбургских заключенных Петра Антонова. Отец его рабочий в Николаеве по имени...

(Конец записки не сохранился)

Примечание. Эта записка была вывезена из Шлиссельбурга, повидимому, И. А. Манучаровым. В ней утерян не только конец, но и часть начала, которое восстановлено нами по догадкам. Полностью сохранилось только самое стихотворение.

КОММЕНТАРИИ

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА ОБ ЮРКОВСКОМ

(К стр. 11)

В «Словаре» А. А. Шилова, а также в других источниках, главным образом мемуарных, о Ф. Н. Юрковском есть такие сведения. Родился в Николаеве, в 1851 г. Происходил из военной, обеспеченной семьи; отец его генерал, бывший защитник Севастополя. Учился в гимназии в Николаеве, а затем в военно-морском училище в Петербурге. Был вольнослушателем в Технологическом институте, из него перешел в Медико-хирургическую академию; полного курса нигде не кончил. Эспер Ал. Серебряков, автор статьи: «Революционеры во флоте», в «Былом» за 1907 г., кн. 2-я, рассказывает, как осенью 1871 г. Луцкий, воспитанник того морского училища, в котором состоял в свое время Юрковский, посвятил его в то, что бывшие недавно исключенными кадеты того же училища Лутохин, Чарников и Юрковский устроили собрание знакомых им воспитанников, на котором они и сбывали, что организовалось тайное общество с целью ниспровержения правительства и существующего порядка, для того, чтобы освободить народ от угнетения, устроить лучшие порядки в России и вывести народ из его тяжелого и бедственного положения, как это было во время великой французской революции. В эти же годы, проведенные Юрковским в Петербурге (до 1874 г.), вышла книга Н. Флеровского «Положение рабочего класса в России», сделавшаяся настоящим евангелием тогдашнего революционного движения. Юрковский, несомненно, был хорошо знаком с этой книгой, как показывают между прочим его позднейшие ссылки на нее в романе «Булгаков» (ср. приложения «О книге Флеровского»). В апреле 1874 г. Юрковский

приезжал к брату своему в Николаев и сблизился здесь с И. М. Ковальским, И. С. Дробязгиным, Е. Имшенецким, А. А. Алексеевой и другими тогдашними пропагандистами. Этот период жизни и описан Юрковским в его романе «Булгаков». 30 сентября 1874 г. Юрковский был арестован вместе со всей этой группой на ст. Добрая во время поездки к штундистам (рассказано в воспоминаниях А. А. Алексеевой); формальной причиной задержания было неимение письменного вида на жительство. Содержался Юрковский вместе с Ковальским и Дробязгиным в Николаеве в морской тюрьме и был привлечен к дознанию по делу 193-х, по обвинению в имении запрещенных книг и за сношения с пропагандистами. По высочайшему повелению дело о нем разрешено в административном порядке с подчинением негласному надзору. В 1875 г., по освобождении из тюрьмы под поручительство, служил управляющим лесопильного завода Бова в Николаеве, где устроил (вместе с А. А. Алексеевой) кузницу с революционными целями. По своим взглядам принадлежал в это время к «набатовцам» и был сторонником борьбы с правительством крайними террористическими средствами. В 1878 г. вместе с Роскиковой приезжал в Николаев для организации побега С. Виттенберга, содержащегося в морской тюрьме. В октябре 1878 г. делал попытки поступить волостным писарем в Днепровском у., Бехтеревской волости. В 1879 г., вместе с Роскиковой Е. И., организовал подкуп под Херсонское казначейство с целью экспроприации денег на революционные цели, главным образом для помощи политическим ссыльным и освобождения их из тюрем, в том числе Чубарова, к кружку которого Юрковский был близок. Организация и ход работ по подкupu описаны Юрковским в его воспоминаниях: «Как я упразднил Херсонское казначейство». По этому делу Юрковский разыскивался по циркуляру III Отделения от 10 июня 1879 г. В августе того же года приезжал в Петербург и виделся там со многими членами вновь образовавшейся партии «Народная воля», но сам в нее не вступил (ср. приложение «Юрковский и народовольцы»). При производстве дознания по делу о взрыве 19 ноября 1879 г. было выяснено, что Юрковский приезжал в Москву к А. Д. Михайлову во время

работ по подкupu. Принимал участие в подготовке покушения на киевского генерал-губернатора. После подкупа Юрковский стал известен под кличкой «Сашка-Инженер». Арестован Юрковский 7 марта 1880 г. в имении Стаховского, в Квской губ. Когда Юрковский был переведен в Киев (из Курска), то участники киевского южно-русского союза подготавливали ему побег из тюрьмы, но он не удался, вследствие доноса агента С. Пиотровского. Судился Юрковский по делу М. Р. Попова и др. киевским военно-окружным судом, в июле 1879 г. (суд длился с 14 по 26 июля). Признан виновным во вступлении в тайное противоправительственное общество в Киеве, имевшее целью ниспровергнуть путем насилия существующий порядок, для чего это общество устраивало сходки и поддерживало сношения с другими революционными кружками в Петербурге и других городах, печатало и распространяло прокламации, фабриковало подложные паспорта и, замыслив лишить жизни некоторых должностных лиц, приобрело для этого разрывные снаряды. Кроме того, Юрковский признан виновным в проживании по подложному паспорту и в похищении в июне 1879 г. для революционных целей из Херсонского казначейства полутора миллионов рублей. 26 июля 1880 г. Юрковский был приговорен по совокупности к лишению всех прав состояния и к каторжным работам в рудниках на 20 лет, а по прекращении работ к поселению в Сибири навсегда. Приговор подтвержден киевским генерал-губернатором 31 июля 1880 г. с заменой работы в рудниках работою на заводах. Из Киева в Сибирь Юрковский был отправлен 3 августа 1880 г.; в январе 1881 г. содержался в иркутском тюремном замке (где имел свидание с А. А. Алексеевой, описанное в ее воспоминаниях). 27 января Юрковский был отправлен из Иркутска на Кару, куда и прибыл в феврале 1881 г. На Каре сотрудничал в рукописном журнале «Кара», написал роман (первые главы) «Булгаков», воспоминания о подкупе («Как я упразднил Херсонское казначейство») и рассказ «Три мгновения». Принимал участие 27 декабря 1881 г. вместе с Андреем Баламезом, Игнатием Ивановым в убийстве П. Г. Успенского по обвинению в предательстве. В ночь на 1 мая бежал из карийской тюрьмы вместе с Левченко, Бала-

мезом и Диковским. Вдвоем с Диковским дошел до границы Китая и был пойман казаками 22 мая 1882 г. По приговору Забайкальского окружного суда от 19 июля 1883 г. срок каторжных работ увеличен за побег на 10 лет. За участие в беспорядках на Каре и за побег был переведен в 1883 г. в Петербург и с 6 августа 1883 г. заключен в Трубецкой бастион Петропавловской крепости как ссыльно-каторжный государственный преступник. 4 августа 1884 г. переведен в Шлиссельбургскую крепость. Умер в Шлиссельбурге 31 августа 1896 г.

Подробную литературу о Юрковском см. в «Словаре» А. А. Шилова.

ЖУРНАЛ «КАРА» И ЕГО СОТРУДНИКИ

(К стр. 13)

Журнал «Кара» изобилует вообще воспоминаниями. Например, таким же, как у Юрковского, автобиографическим характером отличались статьи Р. А. Стеблин-Каменского о революционных кружках 70-х гг. (ср. также статью Стеблин-Каменского о Гр. А. Попко в заграничных «Материалах» кружка народолюбцев, № 3), А. О. Лукашевича о хождении в народ (впоследствии автор статьи «В народ», в «Былом» 1906 г.) и Ф. Богдановича о польском восстании 1833 г. Очень интересной и значительной (по многим отзывам) была статья самого Гр. А. Попко, биография которого написана Стеблин-Каменским, «Записки социалиста», о революционном движении 70-х гг. По обилию статей межуарного характера журнал «Кара» может считаться одним из наших первых историко-революционных журналов, каким, например, впоследствии (в 1906—1907 гг.) сделалось, но уже в другой совершенно обстановке, «Былое». Журнал «Кара» является в этом отношении как бы предтечей позднейшего «Былого», тем более, что в нем тоже сотрудничали многие прежние каторжане. Но кроме воспоминаний в «Каре» помещались и теоретические статьи. Большую работу философского характера дал, например, Н. В. Яцевич, один из редакторов

«Кары», обладавший крупными дарованиями в области отвлеченного мышления. Отрывки из этой работы хранятся в настоящее время в Ленинградском музее революции. Кроме работы философского характера Яцевич дал критику статьи Н. К. Михайловского «Герои и толпа», как раз перед тем появившуюся в «Отечественных записках». В качестве критика Михайловского выступал также Н. А. Виташевский и, наконец, свою собственную социологическую теорию пытался создать К. П. Янковский, не встретивший, впрочем, одобрения у карийских читателей.

ОТРЫВОК ИЗ СУДЕБНОЙ РЕЧИ ЮРКОВСКОГО

(К стр. 15)

Ср. отрывок из речи Юрковского, как он приведен в «Воспоминаниях жандарма» В. Д. Новицкого (изд. «Прибоя», Л., 1929, стр. 129—130): «Юрковский, объясняя цель кражи денег, говорит, что он был руководим желанием улучшить материальное благосостояние сосланных в Сибирь административным порядком, что в краже этой он не видит ничего безнравственного, так как правительство и преследуемые им политические преступники представляют два лагеря, воюющих между собою, а права обеих воюющих сторон одинаковы во все продолжение войны, эти военные действия санкционируются общим международным правом, вовсе не находящимся в зависимости от более или менее справедливых требований той или другой стороны». Сверх того, Юрковский объясняет, что когда Россикова сообщила ему о плане задуманного предприятия и предложила помочь ей, причем объяснила, что цель, для которой предполагается кража денег из Херсонского казначейства, заключается в улучшении материального благосостояния высланных в Сибирь административным порядком, то он, Юрковский, разделяя вполне взгляд Россиковой и не находя в ее предложении ничего безнравственного и, кроме того, встречая много заманчивого в грандиозности факта упряднения целого казначейства, что в его глазах имело сходство с поступком человека, сжегшего с целью про-

славить себя Александрийскую библиотеку, он согласился участвовать в краже.

СУДЬБА РУКОПИСЕЙ ЯКУБОВИЧА И ПОЛИВАНОВА

(К стр. 17)

О Якубовиче

Рукопись Якубовича собственно не была потеряна, но Якубович считал ее потерянной. «Сначала обстоятельство это ввергло меня в полное отчаяние, — говорил он. — Не хватало мужества и силы приняться за новую переписку огромной по объему работы. В сущности это была даже не переписка, а совершенно новый труд, так как у меня сохранились лишь отдельные куски акатуйского черныка». См. предисловие Д. П. Якубовича к «Миру отверженных», изд. Политкаторжан, стр. 18—19. Ср. там же стр. 16—17 о том, как вообще писалась эта работа: «урывками на самой каторге, между работою в руднике и поверками в лазарете... на этапной телеге, во время «поварских» занятий» и пр. Ср. также слова самого Якубовича в т. II «Мира отверженных» о тюремной будке, стоявшей на дворе акатуйской тюрьмы: «под ее уютной кровлей нередко записывал я на память свои тюремные впечатления».

О Поливанове

Перед выходом из Шлиссельбурга П. С. Поливанов предполагал увезти с собой рукопись «Алексеевского равелина» (а также рассказ «Кончился», написанный в мае 1888 г.). Для этой цели М. В. Новорусский и В. Н. Фигнер переписали обе рукописи чрезвычайно сжатым почерком на девяти листочках (в печати это составило около полутора сот страниц!), а затем М. В. Новорусский заделал их в футляр, который, вместе с гербарием, П. С. Поливанов намеревался взять с собою. Но в последние дни перед выходом он не решился это сделать и оставил футляр на усмотрение М. В. Новорусского, а свою собственную рукопись — уничтожил!

Впоследствии он воспроизвел ее заново, в 1903 г., в ссылке, в Павлодаре, Акмолинской области. См. «Алексеевский равелин», ГИЗ, Л., 1926, предисловие, стр. 69—70.

Н. А. МОРОЗОВ О «МУНДИРЕ РЕВОЛЮЦИОНЕРА»

70-х гг.

(К стр. 20)

Вот как описывает Н. А. Морозов свою внешность весной 1878 г. в Москве, после охотнорядского погрома, и в ожидании суда (в Сухаревой башне) над студентами: «При мне был мой обычный револьвер Смита и Вессона военного образца, с которым я не расставался с тех пор, как, после своего освобождения (по делу 193-х), узнал, что меня уже разыскивает III Отделение е. и. в. канцелярии для бессрочной административной высылки в северные тундры. В обоих карманах моих штанов лежали коробки с полсотней патронов и за жилетом скрывался еще небольшой кинжал. Оба кармана моего пальто были полны нюхательного табаку на случай защиты от невооруженных нападений толпы, — если бы ее подговорили против нас». Словом, костюм Н. А. Морозова в 1878 г. воспроизводил во всех деталях костюм Юрковского в 1874 г. Но в 1874 г. он был редким явлением, а в 1878 г. уже стал общепринятым. Несколько ниже у Н. А. Морозова есть еще одно место, дающее представление о его внешности: «Я быстро наклонился, стараясь не выронить при наклоне своего большого револьвера, находившегося в открытой кобуре у пояса под пальто, и не показать кинжала, скрытого за жилетом». См. «Повести моей жизни», т. IV, стр. 65 и 82.

А. А. АЛЕКСЕЕВА О РОМАНЕ ЮРКОВСКОГО

(К стр. 23)

Алексеева Анна Алексеевна, дочь губернского секретаря, родилась в Херсонской губ., в 1856 г. Привлекалась по делу о пропаганде в империи (процесс 193-х). По

высочайшему повелению от 19 февраля 1876 г. освобождена от взыскания по недостатку улик. Проживала в Киеве, откуда в 1878 г. выехала на хутор под Одессой. В 1879 г. принимала участие в организации подполья под Херсонское казначейство. Оставила воспоминания об Юрковском (за которым была замужем) и Росиковой, напечатанные ниже. Дала также ряд сведений и комментариев (в рукописи) для романа «Булгаков», который ей удалось прочесть только в 1929 г. В частности, она пишет о романе «Булгаков» в заметках для настоящего издания.

«Я бы не сказала, что «Булгаков» — художественное произведение. Это картина с натуры. Это наша Николаевская коммуна в 1874 г. Как правдиво написано, как правильно схвачены характеристики каждого из членов нашего николаевского кружка! Я узнала всех. «Коваленко» — это Ковальский И. М.: «Дрозденко» — Дроздзин И. С.; «Граф» — Павел Рябков. Кто был «дядя Пава» не могу утвердительно сказать. Свириденко ли? Кравцов ли? Не уверена. Ковальский был удивительный неудачник. Настоящий теоретик. Меня страшно поразило, когда ко мне дошла весть (я была тогда гувернанткой в Тифлисе), что Ковальский был во главе вооруженного сопротивления. На эту тему у них были большие споры с Юрковским, который возмущался тем, как можно, как овечки, идти сознательно на заклание. Стрелять тогда Ковальский не умел. Помню, как сейчас, следующий случай: во двор вбежала бешеная собака. Ковальский выпустил из револьвера все 6 пуль и все мимо. Вышел Юрковский и одним выстрелом убил ее. И самовар он раздвигал, как пишет Юрковский. Но Юрковский очень уважал и любил Ковальского. Молодежь юная так высмеивала их:

Ковальский чуралей
С штундой возится своей,
А Юрковский — Геркулес,
Да ничтожен его вес, и пр.

«Булгаков», несомненно, автобиография: Юрковский не сочинял, а взял с натуры. Все лица его романа, как живые, сейчас проходят передо мною: и пепел от раздвигавшегося Ковальским самовара, и недопитые стаканы,

и лужи от полоскания их, и дебаты о пропаганде, и вера Ковальского в силу народа и в особенности в силу штундиста, в то, что он, штундист, уже сейчас (в 70-х гг.) революционер, и неверие Юрковского в эту силу и непрерывные полемике на эту тему». «Все это было в городе Николаеве, в начале 1874 г., т. е. когда мне не было полных 18 лет. Более полувека тому назад» (сентябрь-октябрь 1929 г.). Небольшой отрывок из воспоминаний А. А. Алексеевой был издан ею в Одессе под заглавием «Мученики идеи». Отрывок этот тоже использован в наших комментариях. См. также об обеих сестрах Алексеевых в «Словаре» А. А. Шиловой, т. II, вып. 1, стр. 27—28.

КОВАЛИК И ЧАРУШИН ОБ ЮРКОВСКОМ

(К стр. 30)

См. С. Ф. Ковалик «Революционное движение семидесятых годов и процесс 193-х. Посмертное издание. Изд. Политкаторжан, М., 1928. Об Юрковском там же, стр. 168 и сл. Ср. также у Н. А. Чарушина в книжке «О далеком прошлом» (воспоминания о Каре), стр. 79, о том же Юрковском: «Камера рядом с нашей была также многолюдна, но состав ее был более пестрый. Там сидел герой херсонского подполья казначейство «Сашка-Инженер» (Юрковский), своеобразный тип революционера последней формации, смелый и не стесняющийся в средствах, видимо, не пользовавшийся симпатиями товарищей (изд. Политкаторжан, М., 1931). Тут же, на этой же странице, Чарушин называет Юрковского одним из «убийц Успенского», причем ссылается в этом случае на свидетельство того же Ковалика, так как его самого в это время на Каре уже не было.

ЮРКОВСКИЙ И НАРОДОВОЛЬЦЫ

(К стр. 39 и 167)

Сообщение редакции «Былого» о переговорах Юрковского о вступлении в «Народную волю» нуждается в некоторых поправках. Переговоров этих, поскольку

об этом можно судить по наличному печатному и передававшемуся устно (М. Ф. Фроленко, А. П. Корба-Прибылева) мемуарному материалу, вообще не было; менее же всего они могли бы быть в 1880 г., когда отношения Юрковского и народовольцев вполне уже определились. Из здравствующих ныне народовольцев, например, Анна Павловна Корба-Прибылева свидетельствует, между прочим, что в Исполнительном комитете вопрос о принятии Юрковского в «Народную волю» не ставился и она не помнит, чтобы он когда-нибудь обсуждался. Оспаривает она также официальную версию о том, что осенью 1879 г. Юровский виделся в Москве с А. Д. Михайловым по вопросу о подкопе под Моск.-Курск. жел. дор. Непосредственные встречи Юрковского с народовольцами происходили не в Москве, а в Петербурге, и не осенью, а летом, в августе 1879 г. Об этих встречах и о том, как сложились тогда отношения Юрковского с народовольцами (хотя они тогда не носили еще такого названия), теперь имеются интересные мемуарные показания двух тогдашних членов Исполнительного комитета, В. Н. Фигнер и О. С. Любатович. В «Запечатленном труде», ч. 1, изд. Политкаторжан, стр. 189 и сл., у В. Н. Фигнер об Юрковском говорится: «Юровский представлял собою яркую своеобразную личность, любопытную по тому отклонению, которое он представлял от обычного типа революционеров. Я познакомилась с Юрковским осенью 1879 г. в Петербурге, когда мы жили на даче в Лесном. Он приехал с юга, с одной стороны, упоенный артистическим подкопом под Херсонское казначейство с его миллионом, а с другой — подавленный неудавшимся сохранением его для революции». Далее В. Н. Фигнер рассказывает, при каких обстоятельствах появился у них в Лесном Юровский, и дает такую его характеристику по впечатлениям от личного знакомства: «Передо мной был красавец-брюнет южного типа, среднего роста, широкоплечий силач, с правильным овалом и чертами лица, обрамленного черной бородой. С небольшим улыбающимся ртом и черными, необыкновенно большими глазами, смеющимися, плутовскими, мечущими искры, — на него нельзя было не обратить внимания». «Совершенно исключительной была среди нас и его духовная

физиономия. Такой бесшабашной, веселой, необузданной, удалой головы ни раньше ни позже я не встречала. Это было настоящее дикое дитя природы, не знающее и не желающее знать, что такое дисциплина, подчинение своей воли воле коллектива. И как был он степным коном, не знающим узды, так необузданным одиночкой и остался до конца, не войдя на север в нашу организацию, несмотря на то, что тяготел к ней. По моральным качествам он так отличался от всех нас, что, познакомившись, я со смехом говорила ему: «Быть может, одного «Сашку-Инженера» в партии иметь должно, двух — можно, но терпеть трех — невозможно». «Человек с могучим физическим организмом, он не мог не иметь сильных страстей и любил все радости жизни, все лакомства ее. Для моих товарищей жизнь освещалась целью, которую они преследовали, а Юровский казался воплощением принципа: «Жизнь для жизни нам дана». И все-таки я чувствовала некоторую слабость к нему, хотя из множества мелких черточек было ясно, что он человек — «себе на уме», что с ним надо держать ухо востро и беззаветно положиться на него нельзя. Мои товарищи были людьми правдивыми, искренними и прямодушными, но «Сашка-Инженер» был хитер, часто детски лукав, и я не поручилась бы за отсутствие двоедушия в его натуре». «Его отношение к нам, женщинам-революционеркам, было совсем иное, чем у других наших друзей: у них было простое товарищество, а Юровский метал искры, ухаживал и угождал, старался исполнять прихоти, вызывал капризы, смех и шалости своими шутками и остротами. С тем, что общепринято, и с тем, что требовалось специальными условиями нашей революционной конспирации, он не считался». Рассказав далее один из очень ярких в бытовом отношении случаев нарушения Юрковским принятых среди народовольцев (по инициативе А. Д. Михайлова) правил конспирации, В. Н. Фигнер продолжает: «Приключение, смутившее нас, казалось нам забавным, но строгий страж нашей безопасности, Александр Михайлов, которого мы звали «дворником» за бдительный надзор над всеми нами, отнесся к делу совсем иначе и так отчитал «Сашку-Инженера», что тот обиделся и после этого и слышать не хотел о том, чтобы «надеть

ярмо» организации с ее дисциплиной, конспиративными правилами и ограничениями». По существу те же самые сведения об Юрковском давала В. Н. Фигнер и в показаниях во время следствия по ее делу. Об Юрковском тут сказано: «Не переваривал подчинения и дисциплины, требуемых организацией, и до конца оставался независимо одиноким» («Из показаний В. Н. Фигнер», «Былое», 1906 г., стр. 28). Что касается О. С. Любатович, то у нее в книжке «Далекое и недавнее», изд. Политкаторжан, 1930, есть тоже несколько строк об Юрковском и его приезде в Петербург, вскоре после того, как там начали съезжаться участники Липецкого и Воронежского съездов. «Скоро приехали также Попов (Родионич), Щедрин, Е. Ковальская и др., а через некоторое время и Юрковский, устроивший незадолго дело Херсонского казначейства, независимо от организации «Земля и воля», к которой он не принадлежал. Узнав о грандиозном захвате денег компанией Юрковского и об их критическом положении, Зунделевич спешно поехал на юг в надежде помочь им укрыться, но на утро Алешки, так называлось местечко, где они укрывались, были оцеплены войсками, деньги были все захвачены; Юрковский едва-едва успел спастись сам и привез в Петербург только одну десятирублевку из денег, взятых в Херсонском казначействе, которую долго хранил потом как достопримечательность. Приехав в Петербург, Юрковский посещал многих и раз чуть было не попался в руки полиции за то, что вскочил на ходу в поезд, проходивший из Удельной в Лесной; он отделался дешево, благодаря бывшим при нем документам, но почему-то скоро уехал и затем был арестован. Юрковский был человек очень оригинальный и крупный по энергии, но у него был один недостаток, он пил. Это так редко наблюдалось в революционной среде, что нельзя его не отметить, как исключение» (стр. 60—61). В этом рассказе есть серьезные фактические неточности (например, об Алешках и о том, как деньги были захвачены), но в общем и он дает материал для характеристики Юрковского и объясняет, почему он так и не вошел в партию «Народной воли».

О КНИГЕ ФЛЕРОВСКОГО

(К стр. 46)

Юрковский цитирует в этом случае известную книгу Н. Флеровского «Положение рабочего класса в России»; но так как он вместе с тем допускает здесь игру слов, то мысль Флеровского получает совсем не то значение, какое она имеет на деле. В заключительной главе к своей книге Флеровский действительно говорит, что человек обладает «великой способностью расплывать жизнь на земле» (стр. 485 по 2-му изд., Спб., 1872), причем эту способность Флеровский понимает в смысле социологическом, широко общественном, а не узко физиологическом. «В степях Монголии и в лесах Сибири вы можете сделать десятки верст и не встретить ни одного животного: в сравнении с ними Самарская губерния представит вам уже громадное развитие жизни; но эта жизнь покажется опять-таки совершенно ничтожной, если приравнять к ней Англию, лежащую приблизительно на одной с нею широте. В Самарской губернии на квадратную милю приходится до 584 человек и до 808 штук скота, а в Англии часто можно найти до 8000 человек и до 17 000 штук скота. Можно без преувеличения сказать, что в Англии, по сравнению с сибирскими местами и монгольскими степями, жизнь увеличена в 250 или даже в 500 раз». Вот, следовательно, о какой великой способности расплывать жизнь на земле говорит, применительно к человеку, Флеровский. Способность расплывать жизнь на земле для него как бы равносильна способности *развивать производительные силы человечества*. Но рядом с этой «великой способностью» человек обладает, говорит далее Флеровский, одной склонностью, поразительной по своей аномалии: «он имеет возможность и склонность уничтожать жизнь на земле». И дальше Флеровский иллюстрирует это такими примерами: «Персидский деспот Надир Шах, после нападения на Дели, велел изрубить 120 000 человек; возвратившись домой, он сначала велел, по подозрению, выколоть своему сыну глаза, а потом, когда узнал, что его подозрения были ложны, он взбесился на персман и погубил массы своих

собственных подданных. Другой персидский владетель, Ага Магомет, лишил зрения и убил в одном только городе 20 000 человек. Все это громадное разрушение должно быть приписано только двум личностям — Надиру и Магомету. Подобные Надиру и Аге государи вваливали на народ такие невыносимые тяготы, что когда однажды затруднялись, какое бы наказание придумать для знаменитого разбойника, один советник сказал: «сделайте его сборщиком податей, и рыданий народа и требования властей доставят ему столько страданий, что это будет достаточно в наказание за самое ужасное преступление, какое можно себе вообразить», и т. д. Юрковский, разумеется, понимал, в чем именно состоит мысль Флеровского в этом противопоставлении «великой способности распложать жизнь на земле» и «еще несравненно более сильной способности» ту же жизнь уничтожать, но, понимая это, он игрой слов придавал этим местам книги Флеровского то значение, которое ему нужно было при характеристике своих героев.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА К ВОСПОМИНАНИЯМ ЮРКОВСКОГО

(К стр. 167)

Воспоминания Юрковского об «Упразднении Херсонского казначейства» первоначально были напечатаны в заграничном «Былом», № 7, 1908, Париж, стр. 50—76, под заглавием «Подкоп под Херсонское казначейство», с примечаниями от редакции и с приложением заметки М. Ф. Фроленко (который тогда находился за границей): «По поводу воспоминаний Ф. Н. Юрковского», стр. 77—79. Эта заметка М. Ф. Фроленко входит теперь в его «Записки семидесятника» (изд. Политкаторжан, М., 1927, стр. 133—155, или т. I соч., изд. 1930 г.). Ниже эту заметку М. Ф. Фроленко, а также сделанные им устно дополнения к ней (для настоящего издания) мы используем в особых комментариях к рассказу Юрковского. Поэтому она не перепечатана в нашем издании. Напротив, примечания редакции «Былого» нами оста-

влены, так как они имеют самостоятельный интерес и значение. Оставляя примечания, мы, однако, озаглавиваем воспоминания Юрковского не так, как они озаглавлены в «Былом», а так, как, по словам Зильберштейна в № 2 «Кандального звона», они были озаглавлены в карийском журнале «Кара».

ОБ УБИЙСТВЕ ШПИОНА ТАВЛЕЕВА

(К стр. 168 и 230)

Речь идет об убийстве шпиона Тавлеева в Одессе в 1876 г., которое было одним из первых террористических актов на юге России. См. об участии в нем Юрковского ниже в воспоминаниях А. А. Алексеевой, стр. 236. Убийство Тавлеева произошло 5 сентября 1876 г. Краткие сведения о нем появились тогда в заграничных изданиях, например в «Общине» (в письме Л. Г. Дейча о покушении на Гориновича). Кроме Юрковского в этом деле принимал участие Гр. Анфим. Попко, впоследствии в мае 1878 г. убивший в Киеве жандармского ротмистра барона Гейкинга. Участие Юрковского (и Попко) в деле Тавлеева осталось в свое время нераскрытым. Характерно в этом отношении, что и примечание «Былого» только глухо говорит об одном из самых ранних убийств шпионов, а о каком именно, редакция не сочла возможным (из цензурных, конечно, соображений) даже в 1908 г. сказать прямо.

НЕОБНАРУЖЕННЫЕ УЧАСТНИКИ ПОДКОПА

(К стр. 168)

Участники подкопа под Херсонское казначейство судились в Одессе военно-окружным судом 10—14 января 1880 г. На суде выступали Е. И. Росскова, А. А. Алексеева, Е. Н. Южакова, Н. А. Франжолы. Все они (не говоря уже о Россковой) принимали то или иное участие в деле подкопа, между тем на суде степень этого участия и их действительная роль не были выяснены в должной мере, о чем Юрковский, разумеется, знал, когда на Каре писал свои воспоминания. Кроме того, в деле херсонского подкопа принимал участие

например, М. Ф. Фроленко, и должен был принимать участие Н. Л. Властопуло (см. примечания ниже, стр. 273). Роль Властопуло совсем осталась неизвестной властям, так же, как осталась невыясненной и роль М. Ф. Фроленко. Принимала участие еще Терентьева («Лилия», см. о ней ниже), хорошо известная вообще Юрковскому. Ее роль для властей оставалась, как и роль Властопуло и Фроленко, равным образом невыясненной, и она впоследствии привлекалась по самостоятельным делам. Наконец, когда речь зашла о спасении зарытых в Алешихах денег, то в это дело были посвящены многие революционеры, как из бывших в столицах (см. ссылку Любатович на Зунделевича на стр. 272, так и вблизи Херсона, например, в Одессе, о чем свидетельствует В. И. Сухомлин. Эта часть истории херсонского подкупа у Юрковского изложена несомненно нарочито туманно и скомканно: люди, принимавшие участие в этой стадии херсонского предприятия, остались властям совершенно неизвестными. Все это дает понятие о том, что имел в виду Юрковский в этом небольшом предисловии к своим воспоминаниям. Большую роль, чем сказано у Юрковского, играли также мать Алексеевой и сестра ее — Александра («Сашута» из «Булгакова»).

К ИСТОРИИ ПРОПАГАНДЫ СРЕДИ ШТУНДИСТОВ

(К стр. 169)

Об аресте Юрковского с Ковальским и др. в сентябре 1874 г. см. ниже в примечаниях к воспоминаниям А. А. Алексеевой. Позульский, о котором тут идет речь, был известный на юге уголовный преступник. В то время, к которому относится арест Юрковского в Николаевском морском остроге, среди революционеров пользовалась популярностью идея о пропаганде среди «мира отверженных». Опиралась она на бакунинское представление о том, что разбойник — естественный представитель революционного настроения в народе, как это было еще в старой Руси. Пропаганда в тюрьмах была как раз поэтому традицией революционного движения 70-х гг. Несколько позже ею, например, занимался Л. Г. Дейч в 1877—1878 гг., когда он содержался вместе со Стефано-

вичем и др. в Киевской тюрьме по обвинению в участии в Чигиринском деле. В революционной литературе отголоском этой пропаганды Дейча явилась его статья «Протестующие типы народа» в № 5 «Земли и воли» (напечатана анонимно). С другой стороны, о том, как отнеслись впоследствии сами представители мира отверженных к херсонскому предприятию Юрковского, показывает рассказ В. Г. Короленко в части 3-й «Истории моего современника».

КТО ДОЛЖЕН БЫЛ УЧАСТВОВАТЬ В ПОДКОПЕ

(К стр. 172)

Основной состав, о котором здесь говорит Юрковский, был таков: трое мужчин — это сам Юрковский, Властопуло Николай Лукич и уголовный Погорелов, о котором Юрковский ниже пишет, что тоже характерно, как о природном атеисте и социалисте, слегка распропагандированном штундизмом и через штундистов познакомившемся с «радикалами», то есть революционерами (термин — радикал, типичный для 70-х гг.; так назывались тогда революционеры). Те двое мужчин, которые имелись в виду сверх этих трех, были — Николай Франжолли и М. Ф. Фроленко. О них ниже и говорит Юрковский. Оба они приняли некоторое, правда незначительное, участие в подкопе. Большим, однако, уроном для всего дела явилось то, что из состава этой организации сразу же, еще до приступа к подкору, выбыл Властопуло (см. о нем ниже), так что из мужчин фактическое участие, от начала до конца, выпало на долю двоих: Юрковского и Погорелова. Что касается женщин, то те трое, которых Юрковский ставит на одну линию с тремя мужчинами, были: Россикова Е. И., Алексеева А. А. («Аня» из «Булгакова») и Южакова Е. Н., погибшая впоследствии в Якутской области. Кроме них находилась «в запасе», как выражается Юрковский, еще одна женщина, это — Терентьева Л. А., или «Лилия», позже вошедшая в народовольческую организацию и погибшая в Петропавловской крепости при невыясненных обстоятельствах. Как видно ниже из рассказа Юрковского, кроме этих женщин, пришлось принять

участие в деле еще «Маше», жене Погорелова, которая в конце концов и явилась виновницей окончательного провала всего предприятия. Биографические сведения обо всех перечисленных лицах см. в «Био-библиографическом словаре» А. А. Шилова, изд. Политкаторжан, т. II, а также в особых примечаниях.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Н. Л. ВЛАСТОПУЛО

(К стр. 174)

Речь идет тут о Николае Лукиче Властопуло. В «Словаре» А. А. Шилова о нем есть такие сведения: родился в 1858 г. в Одессе, дворянин (сын купца?). Учился в Одесском юнкерском училище, был прапорщиком 53-го пехотного Волынского полка. Участвовал в русско-турецкой войне. Арестован в Одессе в мае 1879 г. по делу Геллиса. Одесским военно-окружным судом приговорен 1 апреля 1880 г. к 15 годам каторжных работ. За побег вместе с Минаковым и Крыжановским 2 августа 1880 г. (был задержан 9 августа того же года) с этапа (Ключевский этап, около Канска) по пути на Кару срочная каторга заменена бессрочной. В 1888 г. подал прошение о помиловании и выпущен на поселение. Жил в Николаевске на Амуре, где служил управляющим винным заводом Пьянкова. В 1907 г. вернулся в Европейскую Россию. Властопуло был женат (первым браком) на сестре Анны Алексеевны Алексеевой — Александре Алексеевне. Анна Алексеевна Алексеева дает о нем с своей стороны такие сведения: «Властопуло Николай Лукич, близкий друг Юрковского, муж моей младшей сестры Сашуты, умершей внезапно от дифтерита в марте 1879 г. на руках у Властопуло. Он только-что возвратился с Шипки, с театра военных действий, где оказался героем, спасши свою роту, благодаря своей распорядительности, и получивши за это георгиевский крест, предназначенный этой роте. Солдаты присудили крест этот отдать Властопуло. По возвращении с Шипки (ему не было и 21 года) он рассказывал нам, как трудно было ему удержать эту роту, которая решила было

бежать врассыпную и этим бы погубила себя, и как он выстрелом через головы в первых же бежавших остановил свою роту, которая окопалась под его руководством, и ни один из них не погиб. Властопуло должен был играть важную роль в деле подкупа. Он был совершенно солидарен с Юрковским, так как после Шипки возненавидел царское правительство всей силой своей чудной и мужественной души. По возвращении из ссылки он жил у меня, передавал через меня большие суммы революционерам и говорил возмущаясь о деле, по которому (незадолго до начала подкупа, в мае 1879 г.) он был арестован, но что это за дело хорошо не помню». О жизни и поведении Властопуло на каторге дает понятие одно письмо А. В. Прибылева (неизданное), которое в этой части мы приводим здесь почти полностью: «Что касается Властопуло, то его я и лично хорошо знал. Это не был симпатичный человек. Он был очень горд и самолюбив, хотя особых данных для этого не имел. Жизнь в нем была ключом и он не мог сдержать в себе своих порывов, и в этом отношении как бы напоминал действительного армейского не очень образованного и духовно развитого офицера. В 1889 г. он подал прошение о помиловании. Одно время он жил (под конец) у меня в «больнице» (так называлась на Каре одна камера, превращенная заключенными в своего рода санаторное отделение) и его койка была рядом с койкой Емельянова. Они дружили, и думаю я, что именно он и Емельянова смутил на покаяние (Емельянов — один из метальщиков 1 марта 1881 г.). Вообще он был достаточно самоуверен и рисовался человеком как бы высшего полета; себя считал выше своих сожителей, и если кто-либо делал не по нем, то он просто перерешал, переделывал. Зачастую это касалось, конечно, разных мелочей тюремной жизни, играющих, однако, в тюрьме всегда большую роль. Например, оба они, и Емельянов и Властопуло, были «любителями свежего воздуха» и лежа около окон считали себя их хозяевами и постоянно отворяли форточки. Было холодно и кто-то из публики подошел и, не говоря худого слова, закрыл форточки. Властопуло возмущился и снова открыл их со словами: «Если всякий может закрыть форточку, то всякий же может и открыть ее!». От этих форточек,

конечно, простуживались, и раз Емельянов проснулся с параличем одной половины лица: справа улыбался, слева плакал. К его счастью это недолго продолжалось, вылечился, но форточки у Властопуло продолжали быть открытыми. Приятелей на Каре он не имел, кроме Емельянова последнее время, но это его не смущало. Ходил всегда с поднятой головой и с военной выправкой, видимо гордился своей фигурой. Читал он много, но что выносил из чтения, не ведомо, не становился лучше, и кончил покаянным прошением после карийской драмы». По возвращении из ссылки Властопуло был уже серьезно болен, имел большую семью, и от общественного движения стоял в стороне. О жизни Властопуло на Каре и об отношениях его с Емельяновым см. также в книге о «Народной воле» Анны Павловны Корба-Прибылевой: «На Кару Емельянов прибыл в декабре 1884 г. Его жизнь в тюрьме была бесцветна и бессодержательна. Последнее время своего пребывания в Карийской тюрьме он подружился с Властопуло, который не мог иметь на него хорошего влияния, вследствие своего малого образования и отсутствия глубокого и обширного мировоззрения. Когда в мужской тюрьме настало тяжелое время голодовок, столкновений с администрацией и репрессий, исходивших от генерал-губернатора Корфа, Властопуло первый подал прошение о помиловании, и его тотчас выпустили из тюрьмы. Его пример соблазнил слабых заключенных в мужской тюрьме, и в числе их (в 1889 г.) оказался Емельянов» (А. П. Прибылева-Корба, «Народная воля», Воспоминания о 1870—80 гг., 1926, изд. Политкаторжан, стр. 91—92).

О М. Я. ГЕЛЛИСЕ

(К стр. 174)

Под обозначением «Ф-а» надо разумеать «Файнштейна» — Геллиса Меера Яковлевича. О нем в «Словаре» А. А. Шилова есть такие данные. Родился в Одессе в 1852 г., учился в одесском еврейском училище. В 1874 г., уклоняясь от воинской повинности, уехал за границу с подложным паспортом турецкого под-

данного Германа Файнштейна. До 1875 г. жил в Цюрихе, а затем в Женеве, где работал в типографии журнала «Община». С мая 1878 г. жил в Одессе, работая в типографии наборщиком и проживая по паспорту того же Файнштейна. В августе 1878 г. вместе с Верцинским организовал в Одессе тайный революционный кружок, где он, вместе с братом Пинхусом, пропагандировал среди рабочих. В феврале 1879 г. принимал участие в убийстве шпиона Гомштофта. Арестован 1 мая того же года в Одессе по делу о распространении прокламаций в Кишиневе и содержался в Одесской тюрьме. Судился 1 апреля 1880 г. (дело 19) и приговорен к смертной казни, замененной лишением всех прав и ссылкой на каторжные работы без срока. На Кару прибыл 16 октября 1880 г. Впоследствии переведен в Шлиссельбург, где и умер 10 октября 1886 г. На Кару за Геллисом добровольно последовала жена его, Эсфирь Моисеевна, урожденная Шпумберг. Через нее переписывалась с Юрковским за время его жизни в карийской тюрьме А. А. Алексеева, находившаяся в то время в Балаганске.

О Е. Н. ЮЖАКОВОЙ

(К стр. 176)

«Это была Елизавета Николаевна Южакова» — пишет А. А. Алексеева в своих замечаниях (не напечатанных) к рассказу Юрковского. Южакова Е. Н. (1851—1883), «Наташа» по революционной кличке, родная сестра известного в 70-х—80-х гг. публициста и социолога С. Н. Южакова, принадлежала к фракции якобинцев-набатовцев. В 1870 г. она выехала за границу для продолжения занятий (перед этим получила прекрасное домашнее образование) в Цюрихском университете. В 1871 г. познакомилась с Турским, одним из руководителей «Набата», вместе с ним ездила в Париж и принимала участие в Коммуне. В 1872 г. познакомилась с Нечаевым и находилась некоторое время под его влиянием. В 1874 г. работала в кружке М. П. Сажина по изданию революционной литературы, вместе с Евгенией Субботиной,

будущей участницей процесса 50-ти, а в 1875 г. примкнула к обществу «Народное освобождение», начавшему издавать журнал «Набат» при непосредственном участии Ткачева и Турского. Южакова близко сошлась с П. Н. Ткачевым и Турским, работая все время вместе с ними. В 1876—1877 гг. Южакова вернулась в Одессу, работала там некоторое время в «Одесском вестнике». По словам П. С. Ивановской, это была девушка хрупкого телосложения, невидная собою, но в высокой степени трудовая, скромная, без малейшего желания выдвигаться в первые ряды. Она была прекрасно образована, знала в совершенстве иностранные языки, превосходно изучила историю французской революции, молитвенно относилась и чтла гебертистов. С речью о гебертистах она выступала на одном революционном собрании в Одессе, созванном по случаю оправдания В. И. Засулич, в 1878 г. Позже участвовала в херсонском подкопе под казначейство (дело Юрковского и др.) и привлекалась по этому делу. Принципиально она соглашалась по словам А. А. Алексеевой, что необходимо совершить подкуп под Херсонское казначейство, но слово «воровство», неизбежно с этим делом как бы связанное, было ей отвратительно. «Что скажут о нас французские коммунары?» — задавала она вопрос А. А. Алексеевой, тяжело вздыхая при этом. «Я как будто сейчас ее вижу, — говорит А. А. Алексеева. — Вот она стоит у печи, греется, и тихо, тихо шепчет: «Эх, Галя, тяжело, тяжело... воровство... что скажут о нас французские коммунары?!» Она и сейчас предо мной, такая же кроткая, такая умная, с грустными, грустными, прекрасными большими голубыми глазами». Позднейшая судьба Южаковой была очень трагична: она была убита политическим ссыльным Бачиным (участником Северо-русского рабочего союза Халтурина и Обнорского) из ревности, в припадке психоза, в Якутской области. Жизненной драмой Южаковой в свое время был очень заинтересован В. Г. Короленко и собирал материалы для того, чтобы возможно полнее осветить ее в печати. Работа эта осталась у него неоконченной, но в 3-й части «Истории моего современника» есть все же глава о Южаковой и Бачине, изложенная, правда, с фактическими неточностями. О драме и о жизни Южаковой см. также статьи П. С. Ивановской, Е. Н. Ковальской

и Бор. Николаевского (Г. Говорова) в «Каторге и ссылке», кн. XXII, XXVIII. Следует отметить, что трагедией Южаковой и Бачина В. Г. Короленко интересовался, повидимому, не только как мемуарист, но и как художник. По крайней мере в его бумагах осталась целая пачка писем Е. Н. Южаковой к матери (всего около 30 писем), часть которых оказалась скопированной рукой самого Короленко. Едва ли это были подготовительные материалы только для мемуаров.

РОЛЬ М. Ф. ФРОЛЕНКО В ПОДКОПЕ

(К стр. 190)

Очень ярким подтверждением этих мест рассказа Юрковского является только-что появившаяся статья М. Ф. Фроленко: «Общество народного освобождения». Статья напечатана в журнале «Каторга и ссылка», в № 3 за 1932 г., стр. 81—100. Упомянув здесь на стр. 93—94, как Россикова предложила ему принять участие в предполагавшемся тогда, но еще не начатом, подкопе, М. Ф. Фроленко продолжает: «Я согласился. Деньги, добытые этим путем, мы прежде всего хотели употребить на устройство побегов из Сибири наших товарищей. Только что окончился процесс 193-х, и в Сибирь послано было много ценного народа. Это соображение оправдывало в наших глазах похищение денег из казначейства. Но, с другой стороны, у меня был ряд сомнений, мешавших отдаться этому делу целиком. Кража, хотя бы и государственных денег, все-таки считалась кражей. Умом я понимал целесообразность такого мероприятия, оно отдавало в наше распоряжение не только крупную сумму денег, но и основательно дезорганизовывало нашего врага — дарское правительство. Очень часто смущала форма этого предприятия. Если бы эти деньги мы могли получить путем открытого нападения с оружием в руках, тогда бы это было гораздо приемлемее. Но тайное похищение, кража... в этой форме я находил неприятный привкус. К тому же у меня еще живо было воспоминание о впечатлении, произведенном кражей денег, совершенной одним товарищем при помощи часового в Став-

рополе-Кавказском: чувство общего возмущения, охватившее всех товарищей при получении известия об этой краже, было живо во мне в достаточной мере». «Не знаю, чувствовала ли нечто подобное Россикова, но я, чтобы заглушить в себе неприятные ощущения, старался прежде всего найти деньги, которые должны были попасть в наши руки при помощи кражи, такое применение, которое могло бы безоговорочно оправдать пути их приобретения. Я ни за что не согласился бы получить их в свое пользование, хотя бы и для революционных дел. Вероятно в силу обуревавших меня сомнений, когда дело с подкупом малость затянулось, вследствие медлительности в подборе годных для такого дела людей, я с радостью стошел от него, получив от Софьи Перовской из Харькова письмо, в котором она просила меня немедленно приехать к ней. Приехав в Харьков, я в нем и застрял. У Перовской налаживались сношения с централькой, где сидел Мышкин. Она задумала сделать попытку освободить при помощи подкупа его или какого-либо другого из заключенных в этом центре». «Для этого дела ей нужны были помощники. В качестве одного из таковых она пригласила меня, и я охотно согласился помочь ей в этом деле. Россикова же, лишившись меня, пригласила Юрковского, Терентьеву и других. Меня из Харькова вызвали через Южакову только в последний момент». Нужно, однако, сказать, что раньше М. Ф. Фроленко совсем иначе рисовал свою роль в подкупе и мотивы своего поведения (см. у него сочинения, том I, стр. 303—306). В своем прежнем рассказе М. Ф. Фроленко критиковал и даже полемизировал с Юрковским, а в приведенном только что отрывке он его в сущности всецело подтверждает. Пример этот показывает, как осторожно нужно относиться к показаниям мемуаристов.

ЛИЛА ТЕРЕНТЬЕВА

(К стр. 195)

Эти 10 000 руб. вывезла из Алексея Л. Д. Терентьева, о которой упоминает в своих замечаниях на рассказ Юрковского М. Ф. Фроленко. Биографические данные о Терентьевой см. у П. С. Ивановской в кн. III «Каторги

и ссылки» за 1931 г., а также в статье о первых народных типографиях в кн. XXIV того же журнала. Как в той, так и в другой из своих статей П. С. Ивановская рассказывает, какую роль в жизни Терентьевой («Лилочки») играл Юрковский. В 1878—1879 гг. Терентьева входила в самообразовательный кружок гимназисток последнего класса. «Как впоследствии рассказывала Лилочка, большое неотразимое влияние на их зеленый кружок имел Федор Юрковский, без тени гордости ведший с ними занятия, уча их твердо ходить по краю пропасти, не страшась, не спотыкаясь. «Его простые, убедительно веские слова будили в наших сердцах светлые перспективы и радостные надежды. А главное мы чувствовали в его словах много веры, отсутствие колебаний (он никогда не трусил), мелочного самолюбия». У Лилочки навсегда сохранилась к Ф. Юрковскому пылкая и мечтательная любовь, как к учителю-другу» (см. «Каторга и ссылка», кн. XXIV, стр. 35). О том кружке, к которому принадлежала в юности Терентьева, есть упоминание также в автобиографии Г. Ф. Чернявской: «Кроме всех знакомых мне революционно-настроенных лиц, между нами был в полном составе кружок молодых девушек, основанный нами в 1877 г.: Лила Терентьева, две сестры Шехтер, Вера Гассох, Рашкович и др. («Каторга и ссылка», кн. LXII, стр. 57). Здесь особенно любопытны сведения о составе кружка. Вера Гассох — впоследствии участница Якутской драмы 1887 г. Позже она стала известна в революционном движении как Вера Самойловна Гоц, выйдя замуж за Мих. Р. Гоца. Две сестры Шехтер — это Анастасия Наумовна и София Наумовна; обе они принимали деятельное участие в революционном движении. Софья Наумовна Шехтер вышла впоследствии замуж за политического ссыльного А. И. Доллера, а Анастасия Наумовна за политического ссыльного О. С. Минора. С. Н. Шехтер-Доллер была арестована летом 1880 г. одновременно с Юрковским в именинниках Стаховских в Курской губ., будучи посланной туда предупредить Юрковского о грозящей ему опасности. Впоследствии она была сослана в Якутскую область, в Батурусский улус (см. М. А. Кротов, «Якутская ссылка», стр. 236, о сестрах Шехтер, и там же, стр. 180—181, о А. И. Доллере). О революционной деятельности А. Н.

Шехтер-Минор см. в ее воспоминаниях в сборнике «Народовольцы после 1 марта 1881 г.», статья «Южно-русская народovolьческая организация», стр. 131—140. Таким образом, из кружка, к которому принадлежала в юности Терентьева, вышло несколько достаточно крупных революционеров. О дальнейшей работе Терентьевой уже в народovolьческих организациях см. в указанных статьях П. С. Ивановской. См. также у А. Д. Михайлова («Народоволец А. Д. Михайлов» — книга В. Н. Фигнер и А. П. Корба-Прибылевой) чрезвычайно характерные упоминания о поведении Терентьевой на суде 20-ти, по которому она получила многолетнюю каторгу. О смерти Терентьевой в Петропавловской крепости выше уже упоминалось. Что касается Рашкович Марии Павловны, то о ней см. в «Словаре» А. А. Шилова, т. II, стр. 1318.

А. А. АЛЕКСЕЕВА О МАЛОВИЧКЕ

(К стр. 205)

То же сообщает и А. А. Алексеева: «Маловичко был удивительный добряк и простофиля, он поверил нам, что это были те самые вишни, из которых он ел варенье. Потом, когда он был серьезно заподозрен в том, что он получил от нас 50 000 п. сидел в тюрьме, ни в чем неповинный, он требовал, чтобы я выдала вишневого, т. е. Юрковского, и так как я не соглашалась, он бранил меня».

ДОПОЛНЕНИЕ В. И. СУХОМЛИНА К РАССКАЗУ О ПОДКОПЕ

(К стр. 209)

В. И. Сухомлин в статье «Из эпохи упадка партии «Народная воля»» («Каторга и ссылка» за 1926 г., № 4, стр. 43) рассказывает, что «в мае 1884 г. в Севастополе, по указанию из Константинополя, был арестован тов. Телепнев в тот момент, когда он перевозил несколько пудов первого номера «Вестника Народной

воли» с парохода «Мендоза» на свою квартиру. Его выследили вследствие того, что в телеграмме было указано не только название парохода, но и фамилия французского матроса, везшего книги. У Телепнева нашли расшифрованное им мое письмо, благодаря чему путем сличения почерков была установлена и моя причастность к этому делу. После этого случая доставка литературы морским путем окончательно прекратилась». По сообщению В. И. Сухомлина, сделанному устно для настоящего издания, тот же самый Телепнев, о котором говорится в цитированном отрывке, принимал участие летом 1879 г. в попытках спасти деньги, закопанные Юрковским в Аleshках. Телепнев был командирован с этой целью в Аleshки одесскими товарищами; его снабдили планом местности, сделанным Юрковским, и он благополучно прибыл в Аleshки. К его приезду военный карантин был уже почти снят и надзор за домом, в котором жил Юрковский перед побегом, и за двором этого дома был фактически уже закончен. Власти уже потеряли надежду найти деньги и Телепнев мог бы приступить к их спасению, если бы не оказалось, что один из сторожей на свой страх и риск решил продолжать раскопки. Свои раскопки он вел с большой настойчивостью и энергией, которые и увенчались успехом. Он напал в конце концов на место, в котором были зарыты деньги, и извлек их наружу. Миссия Телепнева таким образом осталась невыполненной и ему пришлось вернуться в Одессу.

ДОПОЛНЕНИЕ А. А. АЛЕКСЕЕВОЙ К РАССКАЗУ ЮРКОВСКОГО

(К стр. 211)

Об этом инциденте сама А. А. Алексеева сообщает такие подробности: «Когда я взяла в рот записочку, переданную мне с воли, с целью проглотить ее, несколько человек во главе со смотрителем тюрьмы разжимали мне рот и, конечно, не церемонились со мною, помощник смотрителя тюрьмы отвернулся к окну и чуть ли не

заплакал. Все время с тех пор у меня была повязана щетка и с этою повязкой я явилась на суд. Где-то потом я читала отчет о нашем суде, где между прочим было сказано: «Алексеева с кокетливо повязанной щеткой».

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АБЗАЦ ВОСПОМИНАНИЙ ЮРКОВСКОГО

(К стр. 215)

Заключительный абзац воспоминаний Юрковского останавливает на себе внимание читателя сразу в нескольких отношениях. Здесь очень характерны прежде всего ссылки Юрковского на «определенный» принцип, опубликованный ныне в последней программе Исполнительного комитета. Программа Исполнительного комитета была опубликована в № 3 «Народной воли», который вышел в январе 1880 г. Но в этой программе нет формулировки того принципа, о котором пишет Юрковский, и нет той цитаты, которую он приводит в примечании к своей статье. Следовательно не эту программу (не этот текст ее) цитирует Юрковский. Да он и сам говорит о *последней* программе Исполнительного комитета. Что он разумеет в этом случае под «последней» программой, видно из следующего: в № 3 «Народной воли» программа Исполнительного комитета была опубликована не полностью, но затем вышел текст ее отдельным изданием, и в этом тексте, *последнем* по времени, есть особый раздел под буквой «Е», в котором имеется цитата, приводимая Юрковским. Из этого же факта ссылки Юрковского на «ныне опубликованный» текст программы (с разделом «Е») видно, что свои воспоминания Юрковский писал не столь долго спустя после того как программа Исполнительного комитета в полном своем виде вышла в свет отдельным изданием. Иначе говоря, воспоминания о подкопе Юрковский никак не мог писать в Шлиссельбурге (как это утверждала редакция «Былого»), а писал еще на Каре, в годы, близкие к опубликованию «последней» программы Испол-

нительного комитета, то есть вернее всего в 1881 г., так как это издание программы Исполнительного комитета вышло в августе 1881 г. Характерен также еще один факт, — именно то, что текст раздела «Е» программы Исполнительного комитета Юрковский цитирует не совсем точно. Точный текст того места, которое приводит Юрковский, будет таков: «Руководящие принципы действий Исполнительного комитета определяются отношением лиц и общественных отношений таким образом: 1) По отношению к правительству, как к врагу, цель оправдывает средства, то есть всякое средство, ведущее к цели, мы считаем дозволенным». Вот этих, подчеркнутых у нас, слов нет в цитате Юрковского. Очевидно Юрковский цитировал программу Исполнительного комитета по памяти, либо (что еще вероятнее, так как он был арестован уже 7 марта 1880 г.) ознакомился с нею уже в тюрьме по какому-нибудь списку, переданному быть может в те же карийские тюрьмы, что вполне возможно. Отметим еще, что свое отношение к казенным и частным экспроприациям Исполнительный комитет после опубликования полного текста своей программы определил еще раз в ноябре 1881 г. в заявлении, напечатанном в № 7 «Народной воли» по поводу кражи 300 000 руб. из Воспитательного дома. «В виду слухов, распространяемых в обществе, — говорится в этом заявлении, — некоторыми лицами, будто бы 300 000 руб., украденных из капитала Московского воспитательного дома, находятся на руках партии «Народной воли», Исполнительный комитет считает долгом заявить раз навсегда следующее: согласно давно уже опубликованным принципам, партией допускается конфискация только казенного имущества. Всякий же грабеж имущества частных лиц, а тем более общественных филантропических учреждений, настолько же в корне противоречит нашим принципам, насколько составляет обыкновенное явление в сфере императорской бюрократии» («Литература Народной воли», изд. Политкаторжан, стр. 147). Повидимому Юрковскому не было известно это постановление Исполнительного комитета, когда он писал свои воспоминания, или, иначе говоря, его воспоминания написаны были до того, как это заявление, если не вышло, то достигло до карийских тюрем.

СПРАВКА О Е. И. РОССИКОВОЙ

(К стр. 216)

О Роскиковой Ел. Ив., урожденной Виттен, в «Словаре» А. А. Шилова есть такие сведения. Дворянка Таврической губ., дочь генерал-лейтенанта, жена секретаря Елизаветградского уездного по крестьянским делам присутствия. Родилась в 1849 г. Окончила Одесский институт со званием домашней учительницы. В конце 60-х и начале 70-х гг. прошлого века имела в Одессе школу наглядного обучения. Входила в одесский революционный кружок Ив. М. Ковальского. В 1876 г. жила в имении Нестеровой в Днепровском у. (Таврич. губ.), где вела пропаганду среди крестьян. В середине марта 1877 г. жила с Ал. Медведевым-Фоминим в с. Константиновке (Херсонск. у.) в целях пропаганды среди крестьян; в конце июля т. г. скрылась в виду розысков по поводу обнаруженного свертка с запрещенными книгами. В конце 1877 г. работала в лазарете под Жмеринкой в качестве сестры милосердия. В начале 1878 г. была хозяйкой конспиративной квартиры, где помещалась тайная типография кружка Ковальского. Благодаря своему отсутствию не принимала участия в вооруженном сопротивлении 30 января 1878 г. В сентябре 1878 г. ездила в Николаев для организации побега С. Виттенберга. В 1879 г. организовала подкуп под Херсонское казначейство вместе с Юрковским. Арестована 6 июня 1879 г. в Чернобаевке, в 7 верстах от Херсона, на хуторе, принадлежащем Щербаченко, и содержалась сначала в Херсонской, а потом в Одесской тюрьме. Судилась с 10 по 15 января 1880 г. Одесским военным окружным судом и 15 января признана виновной в принадлежности к революционной организации, в проживании по фальшивому виду и в вооруженной краже денег из казначейства. Приговорена к лишению всех прав состояния и к каторжным работам без срока. Приговор подтвержден одесским генерал-губернатором 17 января 1880 г. В конце апреля 1880 г. отправлена в Сибирь и прибыла на Кару 16 октября того же года. В 1884 г. вместе с С. Богомолец и М. Ковалевской, после столкновения с начальством, увезена с Кары

в Иркутскую тюрьму, где пробыла до 1887 г., после чего снова водворена на Кару. В 1890 г. заболела психически и в 1893 г. увезена в Иркутск, в психиатрическую лечебницу, где и умерла в 1894 г. Литературу о Роскиковой см. там же, в «Словаре» А. А. Шилова, но список, приведенный у А. А. Шилова, нужно теперь дополнить новой выше цитированной статьей П. Е. Щеголева о А. Медведеве-Фомине в № 10 «Каторги и ссылки» за 1930 г.

ПРОВОКАТОР ГАПКА ИЩЕНКО

(К стр. 220)

О провокаторше Гапке Ищенко, она же писательница и поэтесса Андриевская, см. статью П. С. Ивановской в № 2 журнала «Кандалыный звон» (изд. одесского отделения Всесоюзного об-ва политкаторжан): «Гапка», из воспоминаний семидесятиницы, стр. 32—36. Ивановская дает яркий портрет Гапки Ищенко и рассказывает ее биографию. О той же Гапке Ищенко писал недавно проф. Яворский в книге «Нариси з истории революційной боротьбы на Украйни», том II, ч. 1, стр. 102. Но по изображению проф. Яворского Гапка Ищенко получается не шпионом и провокатором, а видным революционным пропагандистом и двигателем революции на Украине в 70-х гг. Между тем Гапка Ищенко была облачена как провокаторша еще Клеточниковым, и извещение о ее шпионской деятельности (написанное А. Д. Михайловым) было помещено еще в «Народной воле». См. «Литература «Народной воли», изд. Политкаторжан, М., 1930, стр. 91: «Андриевская Агафья Ал-дровна (поэтесса Гапка Ищенко), находясь в Московской пересыльной тюрьме по пути следования в Восточную Сибирь, пожелала дать откровенные показания и оговорила более 200 лиц, преимущественно украинофилов «Старой и Молодой Громады», киевских и одесских бунтарей, известных ей по слухам, и других; подтвердила показания предателей Федора Курицына и Веледницкого. Весной 1880 г. Андриевская исполняла роль шпионки в Доме предварительного заключения в Петербурге», и т. д.

ГУБЕРНАТОР ПЕДАШЕНКО И ЕГО ОТНОШЕНИЕ К ПОЛИТССЫЛЬНЫМ

(К стр. 222)

Губернатор Педашенко, о котором здесь пишет А. А. Алексеева, имел среди политических ссыльных и каторжан репутацию человека, доброжелательно к ним относившегося. Считаю поэтому необходимым дать здесь о нем небольшую справку фактического характера. — Педашенко, Иван Константинович, родился в 1836 г. Отец его был участником Отечественной войны 1812 г. Педашенко рано осиротел и как сын участника войны с Наполеоном был принят на казенный счет в Московский кадетский корпус. В корпусе преподавал тогда Грановский, и Педашенко был его любимым учеником. В 1861 г. Педашенко был откомандирован офицером финляндского гвардейского полка, по выбору Муравьева-Амурского, в Сибирь офицером особых поручений. За сибирскую жизнь близко сошелся с П. А. Кропоткиным (см. «Записки революционера», изд. 1925 г., стр. 135, и «Дневник», изд. 1923 г., стр. 58—59, и др.). Везде, где мог, улучшал бытовые условия жизни поляков, повстанцев 1863 г., и с некоторыми из них до смерти сохранил дружеские отношения (Огниско, Поплавский, Коссовский, Вронский). В 1868 г. Педашенко, только что произведенному в генералы, поручается устройство Амурской и Приморской областей (второй по счету губернатор). В 1875 г. Педашенко был назначен Атаманом Забайкальского казачьего войска. В 1878 г. совершил поездку в Петербург, чтобы отстаивать войско Восточной Сибири от перехода пешим порядком на турецкий фронт. Тогда же был переведен в Иркутскую губернию. В 1879 г. произошли первые столкновения Педашенко с генерал-губернатором Анучиным по поводу защиты еврейского населения от провокационного погрома. Педашенко доброжелательно относится к политссыльным и каторжанам (что сказывается и на случае с А. А. Алексеевой). Все это вызывает у Педашенко новые столкновения с Анучиным и даже беседы с местными жандармскими властями. Разрешает политссыльным сотрудничать в музее Географи-

ческого общества и получать командировки для исследований местного края. Брату своему, А. К. Педашенко, начальнику артиллерии, живущему в одном с ним доме, разрешает также взять на поруки из пересыльной тюрьмы больного тифом политссыльного (народовольца) Л. П. Третьякова, известного ему (А. К. Педашенко) по гимназии в Кишиневе. Живя в губернаторском доме, Третьяков поддерживает сношения с местной колонией политссыльных, с Л. Н. Фигнер и др., передает им деньги, получаемые от разных благотворительных предприятий, и пр., а также дает уроки сыну начальника тюрьмы, и всеми этими связями пользуется с конспиративными целями, что ведет к высылке его Анучиным в Тунку. Дочери Педашенко в то же время входят в сношения с разными кружками учащейся молодежи, из которых несколько позже вырастает кружок Г. Н. Неустроева, расстрелянного в 1883 г. Анучиным. В конце концов Педашенко подает в отставку. Подав в отставку, Педашенко живет частным человеком в Петербурге и поддерживает близкие отношения с бывшими при нем в Енисейской губернии политссыльными: Лесевичем, Южаковым, Иванчиным-Писаревым, Клеменцом и др. В доме его в Петербурге надолго устраивается также известный сибирский исследователь и путешественник Гр. Н. Потанин. Умер Педашенко в 1919 г., в предместьи Парижа, куда выехал еще до войны.

ЕЩЕ РАЗ ОБ АВТОБИОГРАФИЧНОСТИ «БУЛГАКОВА»

(К стр. 227)

Речь идет о Марии Владимировне Ленци, она же Ленц, дочери генерала, родившейся в 1853 г. и приехавшей в Николаев вместе с Юрковским из Петербурга. Это о ней идет разговор на стр. 162 «Булгакова» между «Аней» и героем романа. И это место чисто автобиографическое. Краткие биографические сведения о Ленц см. в «Словаре» А. А. Шилова, т. II, вып. 2, стр. 762, а также в статье Ц. Мартыновской в кн. 44—45 «Каторги

и ссылки», стр. 84. О той же Ленц любопытные сведения сообщает А. А. Алексеева как в своих воспоминаниях, так и в письмах (не напечатанных) для настоящего издания. Она пишет об отношениях Юрковского к Ленц. «Красавица Ленц, приехавшая с ним (Юрковским) из Питера, уехала потом обратно. Несмотря на то, что она была поистине очаровательна, она не увлекла его. Генеральская дочь, великосветская, знающая великолепно три иностранных языка, с большим образованием, не могла ринуться безотчетно по опасному тернистому пути, выбранному Юрковским. Она не только не пошла по этому пути, но и звала меня, советуя отойти от него. Но вероятно кровь крепостной бабушки заговорила во мне бурно и я ринулась без оглядки». Одно время, за период жизни в Николаеве, в 1874 г., Ленц принадлежала к кружку Юрковского и вместе с другими была арестована на ст. Добрая, вблизи Одессы, 30 сентября 1874 г. См. об этом также ниже в воспоминаниях А. А. Алексеевой.

ОБ АРЕСТЕ ЮРКОВСКОГО

(К стр. 231)

Юрковский был арестован 7 марта 1880 г. в дер. Козловке, Путивльского у., Курской губ., в имении Стаховских, при исключительно драматической обстановке. В воспоминаниях жандармского генерала В. Д. Новицкого об этом аресте даются такие сведения: «Отставной штабс-капитан Стаховский, принадлежавший также к киевскому сообществу, но проживавший в Путивльском у., Курской губ., в день требования начальника киевского жандармского управления (то есть самого генерала Новицкого, а в то время еще — полковника) обыска и ареста Стаховского и доставления его в Киев, был убит тремя выстрелами из револьвера отцом своим, который показал, что имел неприязни с сыном, видя и сожалея, что он находится в сношениях с лицами преступного сообщества. За смертью Стаховского дело о нем в Киеве было прекращено. Удачно направленный из Киева обыск в деревню Козловку Путивльского уезда, где проживал Стаховский и где сосредоточива-

лись по временам члены партии, дал возможность задержать у Стаховского в имении дворянина с подложным паспортом, Головлева, который оказался разыскиваемым Федором Юрковским («Сашка-Инженер»), обвиняемым в вооруженном похищении с подкупом и взломом из Херсонского казначейства, вместе с другими, более 1½ миллионов рублей, для целей тайного сообщества, причем Юрковский был признан руководителем и по этому делу осужден киевским военным судом» (см. В. Д. Новицкий, «Из воспоминаний жандарма», изд. «Прибоя», 1929, стр. 128—129). Все эти сведения в общем достаточно точны. В имении Стаховских группой М. Р. Попова и др. («киевское сообщество») было предположено поставить нелегальную типографию и с этой целью туда из Киева был командирован Юрковский, живший в то время по подложному паспорту доктора Юлия Михайловича Головлева. Но перед приездом туда Юрковского в Козловке между отцом и сыном Стаховскими (отец был генерал-лейтенант, монархист; сын — отставной штабс-капитан, революционер) произошла вышеописанная драма: отец-монархист собственноручно убил сына-революционера. Для того чтобы предупредить Юрковского о происшедшей драме, а также о грозившем ему в имении Стаховских аресте, сведения о чем дошли уже до Киева, из Киева в Козловку была командирована С. Н. Шехтер (впоследствии Доллер, см. примечания). Однако миссия ее окончилась очень печально: она сама была арестована там вместе с Юрковским. Обо всем этом Юрковский и рассказывал на свидании А. А. Алексеевой. Отметим еще, что после М. Н. Стаховского осталась семья, жена и сын. Жена его после гибели своего мужа выехала за границу и там впоследствии оказывала услуги «Группе освобождения труда», сделавшись социал-демократкой. С другой стороны, тем же паспортом на имя Головлева, как жена его, Антонина Александровна, пользовалась тогда же В. Н. Фигнер. «В Одессе, — говорит она, — на Ямской улице я жила под именем Антонины Александровны Головлевой, по документу, который я отделила у местного нотариуса от паспорта, которым пользовался знакомый мне с сестера Ф. Н. Юрковский, проживший месяца полтора в Одессе» («Запечатленный труд», ч. 1, стр. 189).

КАРИЙСКИЙ ПОБЕГ 1882 Г.

(К стр. 231)

Юрковский сдержал свое обещание, данное А. А. Алексеевой, и принял участие в знаменитом побеге карийских каторжан в мае 1882 г., когда из тюрьмы бежало через мастерские (по плану Мышкина) в разные сроки 8 человек, а могло бы бежать и много больше, если бы не неосторожное поведение последней пары, Минакова и Крыжановского. Карийский побег имеет в настоящее время обширную литературу, главным образом мемуарную. О нем писали Виташевский, Чернавский, Ковалик и др. Юрковский тоже написал рассказ о своем побеге с Кары. Рассказ этот был написан в Шлиссельбурге, и М. Ю. Ашенбреннер свидетельствует, что он был «очень интересным». «Его рассказ о побеге из Карийской тюрьмы очень интересен» — говорит Ашенбреннер («Воспоминания о военной организации», изд. 1924 г., стр. 131). Рассказ этот до нас, к сожалению, не дошел. Неоднократно передавал и устно Юрковский другим шлиссельбуржцам, по преимуществу на прогулках, о своем побеге с Кары; об этом свидетельствуют М. Ф. Фроленко, П. И. Ювачев и др. Самый побег был чрезвычайно богат драматическими положениями и в рассказе Юрковского должен был производить большое впечатление. На воле тогда Юрковский пробыл около 3 недель, скитаясь по тайге, и он с своим спутником (Моисей Диковский) успел уже дойти до китайской границы, как был задержан казаками, высланными на поиски беглецов. Наиболее полно их приключения в этом побеге описаны Никитой Левченко в сборнике «Кара», изд. Политкаторжан, М., 1927, стр. 55—72, с послесловием М. Ф. Фроленко.

ЭТАПНЫЙ ПУТЬ В СИБИРЬ

(К стр. 241)

Этапный путь в Сибирь во времена Юрковского начинался из Москвы (знаменитая «Владимирка», теперь «Шоссе энтузиастов») и шел до Нижнего-Новгорода в старое время трактом, позже по железной дороге. Из

Нижнего до Перми плыли буксиром, на баржах (пароходство Курбатова и Игнатова, «курбатовские баржи»). От Перми до Екатеринбурга (ныне «Свердловск») опять по железной дороге, от Екатеринбурга до Тюмени политических перевозили на тройках с жандармами, так как железной дороги на этом участке тогда еще не существовало, а уголовные шли пешим порядком. От Тюмени до Томска, по Иртышу и по Оби, опять плыли буксиром, снова на «курбатовских баржах». Это был долгий путь, продолжавшийся до Томска от Тюмени от 12 до 15 дней. От Томска до Иркутска, 1500 верст, начинался сибирский тракт; весь его проходили пешеходным порядком, причем политических иногда (в 1880—1882 гг.) перевозили на лошадях. Дальнейшая судьба ссыльных определялась, как только они вступали в первый же сибирский город — в Тюмень. В Тюмени тогда существовал так называемый «Приказ о ссыльных», целое министерство о ссыльных. «Приказ о ссыльных» был центральным учреждением, он сносился с «Экспедициями о ссыльных» в Тобольске, Томске, Красноярске и Ирбите. «Приказ о ссыльных» распределял весь подведомственный ему контингент из числа уголовных преступников по каторгам и местам поселения. Он же вел им учет. Что касается политических, то назначение районов ссылки для них делалось еще в Петербурге (в Западную Сибирь, в Восточную, иногда с указанием: «в Якутскую область»); в позднейшее же время это предоставлялось генерал-губернаторам и только в особых случаях, но не как общее правило, шло из Петербурга. На всем этом огромном пути (от Москвы до Иркутска до 5000 верст) партиям местами приходилось надолго задерживаться, особенно в таких городах, как Тюмень, Томск, Красноярск и Иркутск. В остальном весь этот путь был разделен (по Сибири) на этапы и полуэтапы, с расстоянием между последними в 25—30 верст. На полуэтапах ночевали после дневного перехода, на этапах устраивались дневки, для отдыха. Этим путем и шли в 1880—1881 гг. Юрковский и Алексеева, а также и Властопуло, о котором Юрковский говорит в своих письмах. При этом, так как А. А. Алексеева судилась раньше Юрковского на целых полгода (в январе 1880 г., а Юрковский в июле),

то она и шла впереди его на несколько этапов и Юрковский не мог догнать ее. Как они свиделись в Иркутске — это рассказывает Алексеева в своих воспоминаниях. Еще раньше, чем Алексеева, судился Властопуло (в апреле 1880 г.), но Юрковский в Канске (между Красноярском и Иркутском) догнал Властопуло, потому что Властопуло бежал с пути с этапа в с. Ключевском (недалеко от Канска) и был задержан только в августе 1880 г. Таким образом, когда он снова пошел этапом, они и оказались в одной партии. Переписка с родными во время пути шла и легальным (с близкими родственниками) и нелегальными средствами. Юрковский мог сноситься с Алексеевой главным образом через Одессу, с помощью своих родных, которые могли переписываться и с ним и с Алексеевой через канцелярию генерал-губернатора Восточной Сибири. Таким путем и создались те письма, которые напечатаны ниже. Сохранились они в домашнем архиве семьи Юрковских. Как шла переписка на Каре, будет сказано в своем месте.

ПЕРЕПИСКА КАТОРЖАН С РОДНЫМИ

(К стр. 247)

Об отаошевиях Юрковского со своей семьей см. выше в воспоминаниях А. А. Алексеевой. То же самое она говорит и в письмах для настоящего издания: «Федор Юрковский, несомненно, в своей семье был отщепенец, отрезанный ломоть. Все члены семьи были чистейшие монархисты, бары, аристократы, жили они выше своих средств и поэтому сами нуждались в деньгах. Федор Юрковский отрицательно относился к членам своей семьи и вышучивал их частенько. Симпатичнее всех относился к Шете, жене брата Александра». В другом письме та же А. А. Алексеева называет одного из братьев Юрковского — Андрея (того самого, который фигурирует в романе «Булгаков») типичным либералом. В «Словаре» А. А. Шилова о нем есть также справка (см. т. II, вып. 4), о его причастности к политическому либерализму. Из сестер Юрковского, сестра «Оля», письмо к которой помещено ниже, это та самая

Ольга Николаевна, о которой говорится выше в воспоминаниях А. А. Алексеевой (ср. 235 стр.). Мать Юрковского, как видно из воспоминаний той же Алексеевой, дожила до глубокой старости. С родными Юрковский переписывался и позже, будучи уже на Каре. Какую роль могла иметь для жизни каторжан эта переписка с родными в то время, видно из такого отрывка из воспоминаний о карийской жизни Ф. Я. Кона: «По закону, сосланным в каторжные работы воспрещалась всякая переписка с внешним миром. Коменданту каторжной тюрьмы вменялось в обязанность сообщать ближайшим родственникам о здоровье заключенных. При этих условиях заключенный давно уже мог пребывать на том свете, а комендант мог «по политическим соображениям» периодически сообщать родственникам о том, что он «жив и здоров». Само собой разумеется, что родственники, зная, с кем имеют дело, постоянно тревожили департамент требованиями разрешить заключенным самим сообщать о своем здоровье. Независимо от этого при большом числе заключенных коменданту приходилось держать целый штат служащих для оповещения родных». «Казалось бы, что раз такой закон существует, то выхода нет. Но не для департамента... Он нашел выход. Нам было предоставлено право самим писать о себе, но в третьем лице, от имени коменданта. Каждый писал: «Ваш сын (брат, муж) такой-то, жив и здоров, такую-то посылку получил, просит о том-то. Под этим красовалась подпись: «Отдельного корпуса жандармов подполковник» — и фамилия. Жандармам казалось, что их гениальное изобретение делает и департаментских волков сытыми и каторжных овечек целыми. Они упустили из виду лишь одно, что политические каторжане не овечки. Мы очень быстро применились к новому способу переписки и, например, мои родственники к столетию французской революции получили письмо следующего содержания: «Ваш сын, Феликс Кон, жив и здоров. Посланные вами книги получил. Эту открытку вы получите приблизительно 14 июля, а потому Ваш сын вас поздравляет, поздравляет и еще раз поздравляет. Отдельного корпуса жандармов подполковник Масюков». Этот отдельного корпуса жандармов полковник и не поддразывал, с чем он поздравляет».

«Но этой перепиской мы пользовались и для более серьезных сообщений. После отравлений на Каре (в 1889 г., известная карийская драма) мной была за подписью коменданта отправлена родным открытка, в которой я просил прислать мне книг на английском языке и привел их список. Называя известных английских авторов, я, при помощи Рехневского, в заглавном сообщении о случившемся: — «Телесные наказания введены» — «наказанная отравилась», «14 человек сделали тоже», «6 умерло», «я уже здоров».

«Вскоре комендант начал получать отовсюду от родных телеграммы с запросом о заключенных, понял, что это находится в связи с отравлениями и недоумевал: откуда, несмотря на принятые меры, это стало известным. Воображаю, что с ним случилось бы, если бы обнаружилось, что сообщение сделано за его собственной подписью» (см. Ф. Я. Кон, «Под знаменем революции», изд. «Пролетария», Харьков, 1926, стр. 278—279).

Ниже читатель увидит, к каким еще способам, кроме этих, прибегали заключенные для переписки с волей, и как в частности поступал в этом случае Юрковский. Но с своими родными ему не приходилось прибегать к таким конспирациям, так как это были люди посторонние и чужие, которым было бы трудно ориентироваться в так называвшемся тогда «эзоповском языке» каторжанской переписки. Однако переписка с ними все-таки имела большое значение: через родных Юрковский получал материальную помощь и мог поддерживать связь с той же Алексеевой, обвенчаться с которой он тогда поставил своей первой задачей.

КАРИЙСКИЕ ТЮРЬМЫ

(К стр. 253)

Карийские каторжные тюрьмы расположены были в Нерчинском округе, Забайкальской области, на речке Каре, впадающей в Шилку. Еще в 30-х гг. XIX в. в этой местности были найдены богатые золотые россыпи, которые стали разрабатывать трудом ссыльно-каторжных. В 70-х гг. каторжных тюрем по реке Каре всего имелось

семь: Усть-Карийская, Новая, Политическая («Отряд»), Нижняя, Средняя, Верхняя и Амурская. Первыми политкаторжанами на Каре сделались нечаевцы А. К. Кузнецов и Н. Н. Николаев (с июля 1873 г.). Затем с середины 70-х гг. Кара явилась центральным местом каторги для политических. Карийская каторга существовала до 1892 г., когда последних политических перевели с Кары в Акатуй, описанный у Мельшина-Якубовича (см. «В мире отверженных») под именем Шелаевского рудника. Всего на карийских каторжных тюрьмах перебывало политических 217 человек, из них 185 мужчин и 32 женщины. Родственников проживало на Каре 25 человек (2 матери, 1 сестра, 1 брат, 1 муж и 20 жен). Список каторжан-карйцев, требующий, впрочем, некоторых поправок и дополнений, см. у Осмоловского в статье: «Карйцы». Материалы для статистики русского революционного движения. «Минувшие годы», 908, VII. Литературу о карийской каторге см. у Е. Д. Никитиной, «Библиографический справочник по истории Нерчинской каторги», в сборнике «Кара», изд. Политкаторжан, М., 1927, стр. 213 и сл.

Юрковский пришел на Кару (на Нижний промысел) в феврале 1881 г., в большой (третьей) партии в 25 человек, среди которых были все его сопроцессники: Попов М. Р., Диковский, Левченко, Позен, Игнатий Иванов и др., и с ними три женщины: Коленкина, Левинсон и С. Н. Шехтер. Так как переписка с посторонними каторжанами тогда запрещалась, то переписываться с А. А. Алексеевой непосредственно Юрковский не мог. Письма свои он передавал нелегально из тюрьмы в вольную команду и там кто-нибудь из живших, уже от своего имени, посылал эти письма дальше, по назначению. Юрковский и Алексеева пользовались между прочим для этой цели услугами двух женщин, добровольно прибывших за своими мужьями, — Лидии Кондратьевны Ястремской и Э. М. Геллис. Вот почему письмо его, помещенное выше, подписано именем Ястремской. Прием этот широко практиковался на Каре каторжанами. Любопытные сведения о том, как шла переписка карйцев с волей при этих условиях, см. у Ф. Я. Кона, «Под знаменем революции» (воспоминания), изд. «Пролетарий», Харьков, 1926, стр. 278 — 279.

ПЕРЕВОД В ШЛИССЕЛЬБУРГ

(К стр. 255)

За участие в беспорядках на Каре и за побег Юрковский был отправлен летом 1883 г. в Петербург в числе других каторжан (Попов, Мышкин, Будицкий, Игнатий Иванов, Волошенко, Орлов, Долгушин, Малавский, Минаков, Крыжановский) и 6 августа 1883 г. водворен в Трубецкой бастион Петропавловской крепости, а затем через год переведен в Шлиссельбург. Записка Юрковского, посланная несомненно нелегально с пути, относится приблизительно к июню-июлю 1883 г. Писана, по видимому, по эту сторону Урала, «уже в России», как сказано в записке.

ПОСЛЕДНИЕ ДНИ ЮРКОВСКОГО

(К стр. 256)

О последних днях Юрковского в воспоминаниях В. С. Панкратова о Шлиссельбурге есть такое место, относящееся к весне и осени 1896 г.: «Заболев Юрковский и заболел безнадежно. Он и прежде страдал расстройством кишечника и пузыря, но тут присоединилась водянка. Целый месяц она мучила его, и изо дня в день ждали его смерти. Начальство позволило нам дежурить возле него и день и ночь; присутствия жандармов он совершенно не выносил; на гулянье водили его под руки. Доктор сказал, что он ни в каком случае не поправится, если только не увезут. А у нас была надежда на это последнее. Смотритель кому-то сказал, что мать Юрковского была в Петербурге и хлопотала о нем. Мы знали, что связи у нее большие, да тут еще коронация, может и увезут. Сам Юрковский тоже надеялся на это и часто говорил, что его должны увезти. Но это были уже последние дни его, когда он страшно страдал, ни стоять, ни лежать он не мог, захлебываясь, и накануне смерти, как только приступы прилива воды стали усиливаться, попросил товарищей притти попрощаться. Женщин тоже пустили. Утром, часа в четыре, он умер

на руках двух дежурных товарищей. Они же его обмыли, одели при помощи жандармов. Его тело почти сутки стояло в камере, и нам само начальство предложило сходить проститься... Тяжелые минуты, хотя все были подготовлены к такому концу. Некоторые из товарищей видели в окна, как солдаты унесли гроб на носилках за внешние ворота. Кроме синих мундиров ни одной родной души не могло сопровождать покойника. (Панкратов В. С., «Жизнь в Шлиссельбургской крепости 1884—1898», изд. «Былое», П., 1922, стр. 76).

СОДЕРЖАНИЕ

В. Невский. Предисловие	7
Евгений Колосов. Роман Ф. Н. Юрковского в жизни и литературе	11
Роман «Булгаков»	
Глава I. В обсерватории	45
» II. Восемнадцатое столетие или семейство Булгаковых	77
» III. Толкучка	104
» IV. Она явилась	138
Воспоминания Ф. Н. Юрковского и А. А. Алексеевой (Юрковский — «Сашка-Инженер» и «Аня» — Алексеева на конспиративной работе).	
а) Воспоминания Ф. Н. Юрковского «Как я упразднил Херсонское казначейство»	167
б) Из воспоминаний А. А. Алексеевой об Е. И. Россиковой и Ф. Н. Юрковском	216
Письма Ф. Н. Юрковского (Последние годы Ф. Н. Юрковского).	
Тюремные письма и записки Ф. Н. Юрковского	241
Комментарии	261

Редактор А. Н. Тихонов.
Техн. редактор Г. Д. Гилео.
Сдана в набор 1/VIII—1932 г.
Подписана к печ. 2/II—1933 г.
Индекс А—00. Издат. № 42.
Уполномоч. Главлита № Б16357.
Тираж 5300. Печ. листов 9⁵/₈.
Бумага 74 × 105. Типографск.
знаков. в 1 печ. листе 60000.
Гос. тип. „Лен. Правда“
Ленинград, Соцал., 14.

Цена 3 р. 75 к.
Переплет 1 р. 75 к.

РУССКИЕ ПИСАТЕЛИ
XIX ВЕКА

А. И. ЛЕВИТОВ
СОЧИНЕНИЯ
тт. I и II

А. И. ЭРТЕЛЬ
ГАРДЕНИНЫ, ИХ ДВОРНЯ,
ПРИВЕРЖЕНЦЫ И ВРАГИ

В. А. СЛЕПЦОВ
СОЧИНЕНИЯ
тт. I и II

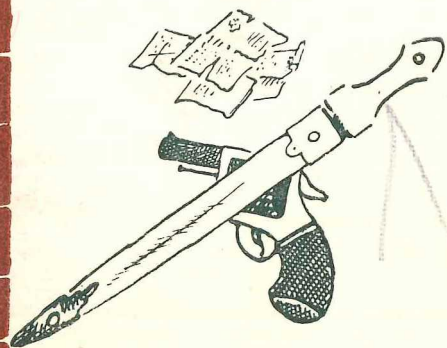
Н. И. НАУМОВ
СОЧИНЕНИЯ

Ф. И. ТЮТЧЕВ
СОБРАНИЕ СТИХОТВОРЕНИЙ
тт. I и II

«А С А Д Е М І А»

Москва, Кузнецкий мост, 18
Тел. 4-34-37

Ленинград, Пр. 25 Октября, 28
Тел. 1-38-98



№ 01002